

Российская Академия Наук  
Институт философии

**ЛИНГВИСТИКА, КОММУНИКАЦИЯ  
И ИСТОРИЯ: СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Москва  
2013

УДК 167  
ББК 87.4  
Л 69

**Ответственные редакторы:**

кандидат филос. наук *А.Ю. Антоновский*  
доктор филос. наук *А.Л. Никифоров*

**Рецензенты:**

доктор филос. наук *В.Г. Горохов*  
доктор филос. наук *Л.Б. Макеева*

Л 69      **Лингвистика**, коммуникация и история: семантический анализ [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред.: А.Ю. Антоновский, А.Л. Никифоров. – М.: ИФ РАН, 2013. – 183 с.; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0248-5.

Сборник посвящен анализу понятий значение и смысл в логической семантике, лингвистике, в теории коммуникации и в социальных науках. В своем наиболее узком и точном смысле эти понятия исследуются прежде всего в связи с языковыми выражениями, но авторам показалось уместным дополнить логико-лингвистическое понимание значения и смысла и рядом нелингвистических перспектив. Сборник дает достаточно полное представление о современных дискуссиях по поводу понятия значения и смысла, ведущихся как специальных областях, исследующих значение отдельных групп языковых выражений, так и вообще в социальной философии и в социальных науках.

ISBN 978-5-9540-0248-5

© Институт философии РАН, 2013  
© Коллектив авторов, 2013

## От составителей.

### Значение и смысл как нелингвистические категории

Сборник посвящен анализу понятий *значение* и *смысл* в логической семантике, лингвистике, в теории коммуникации и в социальных науках.

В своем наиболее узком и точном смысле вышеозначенные понятия исследуются прежде всего в связи с языковыми выражениями, но авторам показалось уместным дополнить логико-лингвистическое понимание *значения* и *смысла* и рядом нелингвистических перспектив.

В логической семантике и лингвистике, начиная с Г.Фреге, под значением языкового выражения имеют в виду его предметное значение (*Bedeutung* – нем.). Речь идет о предмете или совокупности предметов, *обозначаемых* данным выражением. Так, в известном примере Фреге значениями выражений *утренняя звезда* и *вечерняя звезда* будет один и тот же предмет – планета *Венера*.

Значение, указывающее на *онтологический* контекст языкового выражения, дополняется эпистемологической перспективой. Познавательное значение предмета было названо смыслом, под которым, опять же по Фреге, принято понимать конкретный «способ бытия» («*Gegebensein*») значения или предмета и «данность» его наблюдающему. Смысл – это тот или иной способ существования предмета в пространстве и времени. Ведь планета Венера может «являться» наблюдателю как утром, так и вечером.

Правда, со временем смысл самого понятия *значения* поменялся на противоположный (а в действительности вновь вернулся к естественному для немецкого уха звучанию). Со *значением* стали связывать уже не объективно данный предмет, а некую всегда меняющуюся семантическую реальность. Для преодоления возникших трудностей были введены более ясные понятия, *Bezug* или *Reference* (соответственно, в немецком и английском), призванные обозначать связь выражения и его коррелята в реальности.

Под *значением предложения* обычно понимают его истинностное значение, или *пропозицию*. Пропозиция выступает свойством предложения, которое делает его (в разных обстоятельствах) истинным или ложным. На этом логико-лингвистическом основании в философии науки появились интересные истолкования научных теорий. В частности, Фредрик Супп (Frederick Suppe) отказался понимать теорию как множество предложений («non-statement view of theory»)\*.

И действительно, в этом смысле разные «лингвистические» представления научной теории, скажем, волновая модель квантовой механики Шредингера и матричная механика Гейзенберга, как показал фон Ней-

\* *Suppe F. The Search for Philosophic Understanding of Scientific Theories // The Structure of Scientific Theories. Univ. of Illinois Press, 1974. P. 221–260.*

ман, выказывают общую пропозицию в том же самом смысле, в каком разные предложения «Джон любит Мэри» и «Мэри любима Джоном» выражают идентичную мысль, несмотря на синтаксическую различность этих предложений. Уже этот небольшой пример показывает, что лингволингвистические штудии требуют вывода анализа значения и смысла за пределы самой логики и лингвистики, а сами научные теории требуют понимать как некую нелингвистическую реальность.

Однако это простое и ясное истолкование значения и смысла встречает множество проблем, которые до сих пор еще не имеют общепризнанного решения: как говорить о значении так называемых «пустых» терминов, т. е. слов, обозначающих заведомо несуществующие объекты? Каково значение местоимений? Можно ли считать, что значение языкового выражения строго фиксировано или оно изменяется вместе с контекстом употребления? Каково соотношение семантических и прагматических теорий значения? Эти и связанные с ними вопросы обсуждаются в статьях Е.В.Востриковой, А.В.Миглы, А.Ю.Антоновского.

Однако понятие значения можно истолковать более широко – как относящееся не только к языковым выражениям, но и к человеческой деятельности вообще. Человеческую деятельность можно уподобить языку, и как язык имеет синтаксическую сторону – чувственно воспринимаемую последовательность графических знаков или звуков и семантическую сторону – обозначаемые предметы и явления, так и деятельность имеет наблюдаемую физическую активность субъекта и стоящие за ней цели, желания, интенции действующего индивида. Смыслом деятельности можно считать интенции действующего субъекта, значением деятельности – совокупность ее физических и социальных следствий.

Такое истолкование понятия значения делает его применимым в социальной философии, в социальных науках и, в частности, в истории. Если рассматривать исторические события как результат деятельности индивидов и допускать существование причинно-следственных связей между историческими событиями, то можно говорить о значении исторических событий как о совокупности порождаемых ими социальных следствий. С этой точки зрения события оказываются более или менее значимыми в исторической перспективе. Вопросы, связанные со спецификой описания в социальных науках, с ролью интерпретации в создании описаний, с оценкой значения и смысла исторических событий, рассматриваются в статьях А.Л.Никифорова.

Наконец, еще более широкое истолкование понятие значения приобретает в теориях коммуникации, рассматриваемых А.Ю.Антоновским. Собственное значение (т. е. свой собственный объективный предмет или тему, локализованные вне сознаний участников и вне самого коммуникативного

обсуждения) коммуникация может приобретать лишь в том случае, если различные ее типы обособились на множества автономных дискурсов (политических, религиозных, научных, хозяйственных, интимных и др.).

Но такое обособление и появление устойчивых коммуникативных значений (тем или предметов обсуждений) возможно лишь в том случае, если одновременно обособляются и коммуникативные *смыслы*. Под последними понимаются способы *подсоединения* коммуникативных актов друг к другу во времени.

Так, говорить о том или ином предмете (всегда в обособленной системе общения) *имеет смысл* лишь в том случае, если некоторое настоящее или прошлое проецируются в некоторое будущее. Скажем, экономическая коммуникация (например, *приобретение* продукта как *значения* экономической коммуникации) имеет *смысл* лишь в том случае, если подразумевается некоторая будущая коммуникация (например, последующая продажа продукта) и если акты продаж и покупок связываются общим *смыслом*, каковым выступает итоговое приобретение *денег*. Впрочем, и политическая коммуникация (властное распоряжение в отношении конкретной задачи как значения коммуникации) имеет *смысл* лишь в том случае, если подразумевается некоторая будущая коммуникация: в данном случае выполнение подчиненными коллективно-значимых целей, будь это строительство пирамид или ирригационных сооружений.

Основными смыслами, собственно и обуславливающими такую *непрерывность* коммуникативного общения, являются такие хорошо всем известные символы, как *власть, деньги, вера, истина, любовь*, с их всем известной семантикой. Функция этих смыслов и их специальных семантик – связать сходным образом коммуницирующие сообщества.

В целом настоящий сборник дает достаточно полное представление о современных дискуссиях по поводу понятия значения, ведущихся как в специальных областях, исследующих значение отдельных групп языковых выражений, так и вообще в социальной философии и в социальных науках.

*А.Л.Никифоров  
А.Ю.Антоновский*

# РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

## АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ И ГУМАНИТАРИСТИКЕ

*А.Л. Никифоров*

### **Интерпретация в естественных и гуманитарных науках**

1. По-видимому, следует начать с определения понятия интерпретации. Это понятие используется в самых разных областях и в разных смыслах: прежде всего, об интерпретации говорят как об истолковании текстов; в логической семантике под интерпретацией понимают приписывание значений выражениям формального языка; в философии науки говорят об эмпирической интерпретации научных теорий, имея в виду перевод терминов теории на эмпирический язык; иногда даже чувственное восприятие рассматривают как интерпретацию внешних воздействий. Мы не будем останавливаться на анализе всех этих употреблений данного понятия и просто постулируем: в данном случае «интерпретацией» будем называть приписывание смыслового или предметного содержания чувственному восприятию внешних воздействий.

Придание смысла чувственным восприятиям осуществляется с помощью языка: соединяя с восприятием слово, мы получаем образ предмета, свойства, отношения между предметами и т. п. Вспомним хорошо известные примеры двойственных изображений: налагая на восприятие переплетающихся линий то или иное слово, мы получаем образ то старухи, то молодой девушки; то образ разворота книги, то образ ее корешка и т. д. Затем слова, используемые для построения чувственного образа, мы употребляем в описании этого образа. Создается иллюзия, что мы сначала получаем некий чувственный образ, а затем выражаем этот образ в языке – описываем его. Однако это не так. Построение чувственного

образа и его описание – это единый процесс. Описание не представляет собой чего-то внешнего по отношению к осмысленному чувственному восприятию, оно сплетено с этим чувственным восприятием, оно-то и придает ему смысл. Таким образом, описание является средством конструирования осмысленного чувственного образа и интерпретацией внешних воздействий.

Вообще говоря, со времен Т.Куна и П.Фейерабенда в философии науки все это хорошо известно. Вот что об этом писал, например, Фейерабэнд:

«Для начала выясним природу общего феномена: чувственный образ плюс высказывание. Существует не два отдельных акта: один – появление феномена, другой – выражение его с помощью подходящего высказывания, – *а лишь один*: произнесение в определенной ситуации наблюдения высказывания “Луна сопровождает меня” или “камень падает по прямой линии”. Конечно, в абстракции мы можем разделить этот процесс на части и даже попытаться создать ситуацию, в которой высказывание и феномен психологически отделены друг от друга и еще должны быть связаны... Однако при обычных обстоятельствах такое разделение не встречается: описание хорошо знакомой ситуации для говорящего является событием, в котором высказывание и феномен неразрывно слиты.

Данное единство, – продолжает Фейерабэнд, – представляет собой результат процесса обучения, начинающегося с детства. С первых дней своей жизни мы учимся реагировать на ситуации посредством подходящих реакций – лингвистических или каких-то иных. Эти учебные процедуры и *формируют* “явление”, или “феномен”, и обосновывают его прочную связь со словами, так что в конечном счете феномены как бы начинают нам что-то говорить сами, без помощи извне и без участия внешнего знания. Они *являются* тем, что утверждают о них ассоциированные с ними высказывания»<sup>1</sup>. Такие высказывания Фейерабэнд называет «естественными интерпретациями».

Приписывание смысла чувственному восприятию с помощью слов и высказываний повседневного языка действительно можно назвать «естественной интерпретацией» восприятия, ибо оно осуществляется посредством естественного языка. Люди, говорящие на одном языке, будут одинаково интерпретировать внешние воздействия, поэтому естественные интерпретации являются обще-

признанными. Усваивая в детстве родной язык, человек обучается с его помощью интерпретировать внешние воздействия и строить мир национальной культуры – мир, в котором он живет вместе со своими соотечественниками. Описание чувственно воспринимаемого мира посредством естественного языка представляет собой его общепризнанную интерпретацию.

2. Что же представляет собой описание в естествознании? Философия науки основное внимание обращала на анализ объяснения и предсказания, описание, казалось, не вызывало особых проблем. Р.Карнап начинает свою книгу по философии науки с рассмотрения объяснения и предсказания<sup>2</sup>. По-видимому, пренебрежение анализом описания в естествознании объясняется тем, что оно практически не отличается от описаний в обыденной жизни. Взглянем, например, на описание одного из опытов Ньютона со светом:

«Опыт 3. Я поместил в очень темной комнате у круглого отверстия, около трети дюйма шириною, в ставне окна стеклянную призму, благодаря чему пучок солнечного света, входившего в это отверстие, мог преломляться вверх к противоположной стене комнаты и образовывал там цветное изображение солнца. Ось призмы (т. е. линия, проходящая через середину призмы от одного конца к другому параллельно ребру преломляющего угла) была в этом и следующих опытах перпендикулярна к падающим лучам. Я вращал медленно призму вокруг этой оси и видел, что преломленный свет на стене или окрашенное изображение солнца сначала поднималось, затем начало опускаться». Мы легко замечаем, что это описание является результатом наложения слов повседневного языка и некоторых научных терминов на чувственное восприятие. Эти слова и термины придают определенный смысл чувственному восприятию, т. е. придают ему определенную интерпретацию. Эта интерпретация в данном случае зависит как от смысла слов обыденного языка, используемых для описания, так и от смысла терминов, которым Ньютон дает предварительные определения, например «угол падения», «угол отражения», «простой, однородный свет и сложный, неоднородный свет» и т. п. Само описание представляет собой интерпретацию чувственного восприятия посредством обыденного и научного языков. Оно также является «естественной» интерпретацией, ибо принимается всеми: лю-



бой ученый, согласившийся с определениями некоторых научных понятий Ньютоном и использующий тот же самый разговорный язык, получил бы точно такое же описание.

**3. В развитой научной дисциплине обычно происходит разделение эмпирической и теоретической интерпретаций, которые в описании Ньютона еще смешиваются.** Например, П.Н.Лебедев, экспериментально доказавший наличие светового давления, освещал лучами света подвес, к которому были прикреплены легкие крылышки, и наблюдал закручивание подвеса. Но это закручивание подвеса он затем интерпретировал как обусловленное давлением света, и его теоретическое описание говорит не о закручивании подвеса, а о световом давлении: «...Автор исследует пондеромоторные силы, с которыми белый, красный и голубой свет действует на поглощающие, покрытые платиновой чернью, и отражающие (алюминий, платина, никель и слюда) крылья в высоком вакууме.

Опыты были проведены с тремя различными приборами и с двумя различными калориметрами; они были разбиты на десять независимых групп, и их результаты сводятся к следующему:

1. Падающий пучок световых лучей оказывает давление как на поглощающее, так и на отражающее тело; это пондеромоторное действие не зависит ни от известных вторичных кружковых сил, вызываемых нагреванием, ни от явлений конвекции.

2. Эти силы светового давления прямо пропорциональны падающему количеству энергии и не зависят от цвета световых лучей...»<sup>3</sup>.

Научное сообщество приняло описание Лебедева и его интерпретацию, ибо словарь Лебедева был словарем физики того времени. Его описание также было общепризнанным.

Логические позитивисты в свое время полагали, что наука опирается на некий несомненный эмпирический базис, состоящий из протокольных предложений. Считалось, что эти предложения выражают «чистый» чувственный опыт субъекта. Теперь мы знаем, что, пытаясь выразить в языке чувственное восприятие, мы неизбежно интерпретируем его – обобщаем, концептуализируем, придаем ему смысл. Исследования философов науки второй половины XX в. показали, что наши описания фактов всегда «теоретически нагружены», т. е. факт всегда представляет собой интерпретацию чувственного опыта.

Поскольку научное описание в дополнение к терминам естественного языка пользуется все большим числом специальных терминов, обретающих точный смысл в рамках тех или иных теорий, будем называть даваемую им интерпретацию чувственного восприятия не «естественной», а «первичной» интерпретацией. Нам важно здесь подчеркнуть, что первичная интерпретация – как и естественная – пользуется всеобщим признанием в сообществе ученых, принимающих некоторую парадигму. Описание каких-то явлений, данное одним ученым, может быть воспроизведено и получено любым другим ученым, использующим концептуальный аппарат тех же теорий.

В.С.Стёпин обращает внимание на то, что одна и та же ситуация может получить различные описания в зависимости от того, с помощью каких понятий мы ее интерпретируем. На чувственно воспринимаемый материал мы можем налагать разные эмпирические схемы, которые и задают получаемое описание этого материала. «Эмпирические объекты, – пишет он, – хотя и сопоставляются с реальными предметами опыта, не тождественны последним. Они суть абстракции, существующие только в идеальном плане, как *смысл знаков эмпирического языка науки* (курсив мой. – А.Н.). Так, реальная магнитная стрелка и провод с током обладают множеством признаков и свойств, но в рамках эмпирической схемы они представлены только по признакам “быть ориентированной магнитным полем” и, соответственно, “проводить ток определенной силы” и “иметь определенную конфигурацию”. Все остальные свойства данных объектов исключаются из рассмотрения»<sup>4</sup>. Налагая язык на чувственное восприятие, мы выделяем, «вырезаем» и конструируем интересующие нас объекты опыта.

**4. Чем же описания и интерпретации в естествознании отличаются от интерпретаций и описаний в гуманитарных науках?** Чтобы понять это, обратимся к описанию историка. «К лету 1380 года Мамай основательно подготовился к решающей схватке с Москвой. Не надеясь после Вожи<sup>5</sup> только на собственные силы, он заключил союз с новым великим князем литовским Ягайлой Ольгердовичем. Власть Мамайя признал Олег Иванович Рязанский, видимо, желая избежать нового разгрома своего княжества (в то же время он предупредил Дмитрия Ивановича о выступлении Орды) (Полное собрание русских летописей. Т. 4, ч. 1, вып. 1, с. 311–312; Т. 6, с. 90.) В начале кампании, когда Мамай с войском кочевал за

Доном, а Дмитрий находился в Коломне, Мамаевы послы привезли требование платить выход как при Джанибеке, “а не по своему докончанию. Христолюбивый же князь, не хотя кровопролиться, и хоте ему выход дати по крестьянской силе и по своему докончанию, како с ним докончал. Он же не въсхоте” (Полное собрание русских летописей. Т. 4, ч. 1, вып. 1, с. 314; Т. 6, с. 92)»<sup>6</sup>.

Оставляя в стороне другие важные особенности исторического описания, я хочу здесь обратить внимание на то, что оно содержит слова, которых нет и не может быть в естественнонаучном описании: «не надеясь», «желая», «не хотя» и т. п. Эти слова относятся к мотивам, целям, желаниям людей, действия которых описывает историк. И это обстоятельство существенно изменяет природу описания.

Естествознание и история имеют дело с принципиально разными объектами. Поведение людей, в отличие от поведения природных объектов, неразрывно связано с ненаблюдаемыми психическими состояниями, и описание этого поведения необходимо включает в себя цели, стремления, желания действующих людей. Когда, скажем, Х.К.Эрстед описывает, как ведет себя магнитная стрелка вблизи проводника, по которому пропускают электрический ток, он не включает в свое описание терминов типа «хочет», «стремится» и т. п. Он просто говорит о том, что магнитная стрелка отклоняется, когда по проводнику течет ток, железные опилки притягиваются к проводнику с током и т. п. Стрелка и опилки ведут себя так вовсе не потому, что они «хотят» или «желают» приблизиться к проводнику или что электрический ток им «нравится». Их поведением управляют законы природы. Поведение же людей обусловлено не законами природы, а их целями и стремлениями, которые мы должны включить в описание наблюдаемого поведения.

Но это означает, что описание поведения людей включает в себя не одну, а две интерпретации, – именно это коренным образом отличает естественнонаучное описание от описания в гуманитарных науках. Если в естествознании интерпретация представляет собой наложение терминов естественного и научного языка на чувственное восприятие, то в гуманитарных науках на эту – *первичную* – интерпретацию налагается еще одна – *вторичная* – интерпретация намерений действующих субъектов. Скажем, мы хотим описать наблюдаемое поведение некоторого человека. Сначала с помощью слов

обыденного языка и, возможно, общепризнанных научных терминов мы даем первичную интерпретацию чувственного впечатления: человек наклонил голову, прижал правую руку к груди, слегка согнул корпус. Затем мы добавляем к этому еще одну интерпретацию, относящуюся к его целям и намерениям, и получаем описание поведения: человек поклонился в знак благодарности, в знак согласия, признания вины или просто испытал сердечный приступ. В общественных науках важна именно вторичная интерпретация. Вот как об этом говорит современный историк:

«Нам зачастую кажется, что мы изучаем объективную реальность – то, что “на самом деле происходило в прошлом”. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что “на самом деле” нас интересует вовсе не собственно объективная реальность – точнее, не то, что за этими словами представляется обыденному мышлению. Скажем, вряд ли нас волнует тот факт, что однажды, около 227000 средних солнечных суток назад, приблизительно на пересечении 54-го градуса с.ш. и 38 градуса в.д. на сравнительно небольшом участке земли (ок. 9,5 кв. км), ограниченном с двух сторон реками, собралось несколько тысяч представителей биологического вида *homo sapiens*, которые в течение нескольких часов при помощи различных приспособлений уничтожали друг друга. Затем оставшиеся в живых разошлись: одна группа отправилась на юг, а другая на север... Между тем именно это и происходило, по большому счету, на “самом деле”, объективно на Куликовом поле. Нет, нас интересует совсем иное. Гораздо важнее, кем себя считали эти самые “представители”, как они представляли свои сообщества, из-за чего и почему они пытались истребить друг друга, как они оценивали результаты происшедшего акта самоуничтожения и т. п. вопросы. Так что нас скорее волнует то, что происходило в их головах, а не то, что происходило “на самом деле”...»<sup>7</sup>. Здесь автор очень ясно говорит о том, что на первичную (естественнонаучную) интерпретацию должна быть наложена вторичная (историческая) интерпретация, для того чтобы мы получили историческое описание некоторого события.

5. Существует принципиальная разница между первичными и вторичными интерпретациями. Первичные интерпретации, с которыми имеет дело естествознание, являются общепризнанными и поэтому кажутся естественными. Конечно, встречаются эпизоды в истории науки, когда конкурируют две теории и сторонники раз-

ных теорий интерпретируют результаты экспериментов и факты по-разному. Однако, как правило, с течением времени одна из этих теорий становится парадигмальной и единство в описаниях восстанавливается. Интерпретация фактов изменяется и в результате смены парадигмальных теорий: новая парадигма приносит с собой новые термины и часто изменяет смысловое содержание старых понятий. Налагая на чувственное восприятие новый язык, мы придаем фактам новый смысл. В одной из своих работ Т.Кун обращает внимание на то, как изменилось смысловое и предметное содержание слова «планета» при переходе к коперниканской системе мира: под планетой стали понимать тело, вращающееся не вокруг Земли, а вокруг Солнца; из числа планет были исключены Луна и Солнце, а Земля, напротив, стала планетой. Однако это изменение было принято всем научным сообществом, поэтому первичная интерпретация сохранила свою общепризнанность.

С вторичными интерпретациями дело обстоит иначе. Взглянем на описание историком знаменитого покаяния Генриха IV в Каноссе:

«Вдруг Генрих является в Каноссу. Удивленный Григорий отказывается принять его. Какие условия хотел он поставить Генриху? Если оба главных летописца, Бертольд из Рейхенау и Ламберт из Герсфельда, по этому вопросу расходятся, то, по крайней мере, в одном пункте они согласны: в течение трех дней, с 25 по 27 января, король принужден был босиком и не принимая пищи ожидать в снегу перед оградой, чтобы Григорий смилостивился и простил его. Наконец, на четвертый день, папа допустил его к себе и снял с него отлучение...»<sup>8</sup>. Мы видим, что даже летописцы, т. е. тот источник, из которого историк черпает свои сведения о прошлом, согласны только в одном пункте: король в течение трех дней стоял босиком на снегу перед оградой замка, но ворота перед ним открылись только на четвертый день. Иначе говоря, они согласны только в отношении первичной, так сказать, «естественнонаучной», интерпретации наблюдаемого положения дел. Но в остальном, т. е. во вторичных интерпретациях, даже летописцы расходятся, а уж историки тем более могут расходиться. Чего Григорий хотел от короля? Зачем Генрих приехал в Каноссу? Какие цели он преследовал? Было ли его раскаяние искренним или он лишь притворялся? Цели и намерения папы и Генриха, определявшие их наблюдаемое поведение, не видны постороннему наблюдателю, поэтому каж-

дый из них реконструирует эти цели и замыслы, опираясь на свои собственные представления о характере папы и короля, на свое понимание взаимоотношений светской и церковной власти, на свои политические предпочтения. Поэтому вторичные интерпретации социальных фактов, следовательно, их описания могут далеко расходиться как у очевидцев, так и у историков.

6. Источником различий вторичных интерпретаций является сама природа человеческой деятельности и поведения. Нет однозначной связи между целью и средствами ее достижения: к одной и той же цели можно идти разными путями. Точно так же нет однозначной связи между мотивами и действиями: одна и та же наблюдаемая физическая активность может побуждаться и сопровождаться разными мотивами. Мы видим, например: идут по улице люди. Все мы приблизительно одинаково переставляем ноги при ходьбе, и хотя походка у каждого своя, наши телодвижения можно интерпретировать и описать одним словом «идет». Каждый человек, владеющий русским языком, именно так и опишет действия шагающего человека. Он не будет говорить: человек слегка приподнимает правую ногу, выносит ее вперед, опускает, затем сгибает левую ногу и т. д. Нет, всю видимую совокупность движений он интерпретирует и описывает одним словом, придавая этой совокупности движений определенный смысл. Однако мотив, интенция, цель, побуждающая нас двигаться, у разных людей разные: один идет на работу, другой – на свидание, третий – на вечеринку и т. д. И вот здесь начинаются расхождения: один наблюдатель припишет объекту наблюдения одну интенцию, а другой наблюдатель может приписать совсем иную: «спешит на свидание», «тащится на работу», «шагает на митинг». Описания, включающие вторичные интенции, очень часто не совпадают, они не являются общепризнанными – в отличие от первичных интерпретаций.

Но историк, как мы видели, не может обойтись без вторичных интерпретаций, т. е. без приписывания действующим субъектам каких-то мотивов или целей. Эти вторичные интерпретации определяются индивидуальными особенностями мировоззрения самого историка. И если два историка руководствуются разными ценностными установками, различными идеологическими, политическими и прочими взглядами, то они создадут далеко расходящиеся описания одних и тех же исторических событий и личностей. Причем

дело не только в том, что они могут приписать разные мотивы своим героям. Идеология историка, его вкусы и предпочтения существенно повлияют на выбор заслуживающих упоминания фактов, на оценку значимости этих фактов, на установление связей между фактами и т. д. В итоге каждый историк создает свое собственное описание прошлых событий, создает свою собственную историю. Конечно, эти разные описания будут до некоторой степени совпадать на уровне первичных интерпретаций: Цезарь был убит в Сенате; Генрих ходил в Каноссу; татары и русские действительно резали и кололи друг друга на Куликовом поле. Однако вторичные интерпретации и соответствующие описания совпадать не могут.

Итак:

1. Любое описание наблюдаемого положения дел представляет собой его интерпретацию, т. е. приписывание смысла чувственному восприятию.

2. Первичная интерпретация осуществляется с помощью обычного языка, она является общей для всех носителей данного языка и поэтому кажется естественной.

3. Естественнаучная интерпретация фактов осуществляется посредством общепринятого научного языка, она является общей для всех членов научного сообщества и в этом смысле она похожа на естественную интерпретацию.

4. Описание в гуманитарных науках включает в себя вторичную интерпретацию – приписывание действующим субъектам тех или иных намерений и целей. Эта интерпретация существенно зависит от индивидуальных особенностей ученого. Поэтому в гуманитарных науках разброс интерпретаций является неизбежным.

## Примечания

- <sup>1</sup> *Фейерабенд П.* Против метода. М., 2007. С. 84.
- <sup>2</sup> *Карнап Р.* Философские основания физики. М., 1971. Первая глава носит название: «Значение законов: объяснение и предсказание».
- <sup>3</sup> Цит. по: *Кудрявцев П.С.* Курс истории физики. М., 1982. С. 281.
- <sup>4</sup> *Стёпин В.С.* Теоретическое знание. М., 2000. С. 144.
- <sup>5</sup> На реке Воже (в Рязанской области) в 1378 г. Дмитрий Иванович разбил татарское войско, посланное Мамаем для усмирения Руси.
- <sup>6</sup> *Горский А.А.* Москва и Орда. М., 2003. С. 96.
- <sup>7</sup> *Данилевский И.Н.* Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.). М., 2001. С. 5–6.
- <sup>8</sup> Эпоха крестовых походов / Ред.: Э.Лависс и А.Рэмбо. Смоленск, 2002. С. 94.

## **Коммуникация и наблюдение как универсальный биологический, нейрофизиологический и коммуникативный процесс\***

Если давать родовидовое определение понятию коммуникации, то «родовым» для коммуникации феноменом (как и для процессов восприятия в сознании), видимо, следует признать процесс наблюдения, который мы будем понимать в самом общем смысле: как процесс обозначения чего-то одного, отличающегося от множества конкурирующих за внимание феноменов; наблюдение «составляется» т.о. из одновременных друг другу операций обозначения и различения. Прежде чем обратиться к специфическим характеристикам коммуникации, выделяющим ее из всех родственных – когнитивных, наблюдающих – феноменов, попытаемся перечислить и проиллюстрировать некоторые базовые принципы и особенности, общие для всех процедур наблюдения. По нашему мнению, общими для процессов коммуникативного обсуждения и восприятия признаками (о которых подробнее мы расскажем ниже) являются:

- наличие *собственных значений* как условий упорядочивания систем;
- замкнутый, рекурсивный характер коммуникативных систем и систем переживаний личности;
- временной или событийный характер протекания коммуникативных процессов;

---

\* Статья написана при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект № 12-03-00514 («Концептуализация общества в современном социально-гуманитарном знании»).



– свойства «повторного вхождения» отличенного (от процессов сознания и коммуникации) «внутри» сознания и «внутри» коммуникативного обсуждения;

– принцип «слепого пятна» или ненаблюдаемости самих медиа или средств наблюдения в процессе наблюдения.

Ниже мы покажем, как перечисленные свойства согласуются с особенностями базовых процессов наблюдения, характерных как для восприятия сознания, так и для нейрофизиологических и биологических процессов.

### **1. Собственные значения – условия коммуникативного порядка**

Коммуникации мы будем понимать как базовые элементы общества, которое, в свою очередь, предстает в виде совокупности осуществляющихся в нем коммуникаций. Такое кажущееся очевидным определение приводит к неожиданным следствиям. Вбирая в себя все коммуникации, общество понимается настолько широко, что его устные обсуждения и письменные описания уже не могут осуществляться где-то *вне его*, но составляют существенную часть самого общества. Эта парадоксальная самообращенность, представление об обществе как о «само себя толкующем» – стержневой мотив всех системно-теоретических интерпретаций общества и общения. Так, социология, наблюдая общество, обнаруживает в своем предмете и себя саму как научную коммуникацию, и, следовательно, проявление общества (превращаясь тем самым в описание описаний). Но так же обстоит дело и с религиозными коммуникациями (Э.Дюркгейм<sup>1</sup>), и с коммуникациями в области литературы и искусства<sup>2</sup>.

При этом из понятия коммуникации приходится исключать ее внешние миры: люди, сознания, организмы, артефакты теряют свое значение социального факта в его дюркгеймовском понимании: непреложной необходимости, с которой должно считаться любое социальное взаимодействие. Не предмет, но его наблюдение и описание, т. е. сама тематизирующая его коммуникация, отныне становится главным и единственным социальным фактом. Все предметы коммуникации (ее внешние миры: люди, сознания, объекты) могут

быть представлены лишь коммуникативно, то есть внутри системы общества, которое, таким образом, превращается в замкнутую последовательность соотносящихся лишь друг с другом операций.

В теорию коммуникации этот кибернетический сюжет приносится из подхода, получившего название «кибернетики второго порядка», развиваемой в Иллинойском университете австрийско-американским физиком Хайнцем фон Ферстером. Сходную версию «самоконструирующего наблюдения» развивали чилийские биологи Умберто Матурана и Франциско Варела и др. Кибернетический подход должен был помочь решить классическую, поставленную еще Гоббсом, проблему источников (социального) порядка. Это проблема теперь выглядит как проблема невероятности фактически наличествующего порядка. Данная проблема оказывается в каком-то смысле одинаково релевантной как для социологической теории и биологии, так и для теории сознания.

В обществе «невероятность» упорядоченной коммуникации вытекает уже из природы времени: «Вопрос состоит в том, как вообще возможна социальность в условиях одновременности (= неконтролируемости); и ответ гласит: благодаря конституированию объектов как *собственных значений* протекающего во времени процесса поведения»<sup>3</sup>. И действительно, нормы, ценности, консенсус, санкции, взаимный интерес, рациональность, власть и все иные гарантии коммуникативного порядка бессильны перед тем, что происходит в настоящем. Ведь реагировать можно лишь на прошлое. Что же обеспечивает порядок в данное мгновение? И, с другой стороны, согласия (консенсуса) в обществе может и не быть, но разве перестает оно от этого являться обществом, разве исчезает в ходе конфликта коммуникативное общение, а следовательно, и само общество? Разве асоциальность и аномия локализованы где-то вне коммуникации? Разве единственно возможным определением нормативности не является отсылка к девиантности, к «другой стороне» нормы?

Для ответа на эти вопросы теория коммуникации и обращается к системе кибернетических, математических, физиологических и биологических понятий, заимствует понятие *собственных значений*<sup>4</sup>.

Но и в обществе, а не только в математике, присутствуют собственные значения, под которыми можно понимать своеобразные социальные *инварианты* порядка, которые не могут быть сведены ни к консенсусу, ни к всеобщим ценностям, ни к коммуникатив-

ной рациональности. Эти «собственные значения» и обеспечивают какую-то иную, независимую от консенсуса, интеграцию, имеющую место и в случаях аномии, конфликтов и т. д.

Но и в обществе можно попытаться обнаружить некоторые аналоги такого рода собственных значений, ответственные за появление социального порядка. Именно они позволяют ответить на вопрос о том, как возможен порядок, если обсуждаемые в коммуникациях «объективные» предметы не могут служить основанием для рационально выстраиваемого согласия<sup>5</sup>, поскольку являются результатом самоконструирующей деятельности коммуникации, неслучайных подсоединений коммуникаций друг к другу, наблюдения одних коммуникаций другими коммуникациями, но никак не предметно-ориентированных рациональных описаний мира (свойственных исключительно такой обособленной системе, как научная система коммуникации).

Хайнц фон Ферстер<sup>6</sup> предложил систему понятий, которые были положены рядом теоретиков, прежде всего Н.Луманом<sup>7</sup> и П.Вацлавиком<sup>8</sup>, в основу их коммуникативной теории. Ферстер же дал и формальное описание закрытого системного процесса, который можно было бы назвать «наблюдением наблюдения с исчезновением наблюдаемого». Элиминация исходного аргумента и «волшебное» появление так называемых *собственных значений* (Eigenwerte) и является следствием самоприменимого, или рекурсивного, характера тех или иных операций (прежде всего переживаний сознания и коммуникативных обсуждений).

Рекурсивность есть обращение к результатам предшествующих операций как к основанию последующих. «Собственные значения» в социальном и биологическом поведении в каком-то смысле аналогичны так называемым собственным значениям в математике или физике. Обобщить эти примеры позволяет следующая формализация фон Ферстера. Рекурсивность в наблюдении состоит в том, что наблюдение некоторого положения дел или предмета ( $obs_1$ ) есть результат предшествующей деятельности по координации ( $coord$ ) с некоторым начальным положением дел:

$Coord(obs_0)$ .

$Obs_1 = Coord(obs_0)$ .

$Obs_2 = Coord(obs_1)$ , отсюда

$Obs_2 = \text{Coord}(\text{Coord}(\text{obs}_0))$ .

Конечная формула гласит:  $Obs_\infty = \text{coord}(\text{coord}(\text{coord}(\text{coord}...$

Вопрос о *предмете* наблюдения (или «*что-наблюдения*») оказывался таким образом элиминированным. Релевантным становилась проблема *как-наблюдения*, то есть вопрос об условиях возможности предмета наблюдения, о том, посредством каких операций, каких различий осуществляются наблюдения. Однако само наблюдение-различение, конституирующее свой предмет, как раз и ускользало от наблюдения<sup>9</sup>.

Но как обнаружить *собственные значения* в мире коммуникаций? И здесь должны обнаруживаться такого рода средства наблюдения (латентные медиа или средства коммуникации), являющиеся и результатом рекурсивных процессов (коммуникации, обращенные к коммуникации), и – одновременно – средством для их конструирования.

Такими средствами оказываются коммуникативные *коды-различения*, обеспечивающие рекурсивность коммуникаций, замкнутой характер социальных систем, то есть подсоединение одних внутрисистемных коммуникаций к другим внутрисистемным коммуникациям: политических – к политическим, научных – к научным, массмедийных – к массмедийным. Сами эти коммуникативные коды как «средства различения» и наблюдения, связывающие элементы системы в единство, остаются ненаблюдаемыми (по крайней мере, на уровне простого наблюдения). Наблюдать их можно лишь на уровне наблюдения второго порядка.

## 2. Замкнутость и автономия (коммуникативных) систем

*Собственные значения* являются результатом автологических, самоприменимых процессов. Их функция как раз и состоит в обеспечении *автономности* этих процессов, в обеспечении независимости коммуникаций от внешнемировых воздействий и влияний, в обеспечении закрытости системы и ее дифференциации и от-дифференциации обособленных типов общения. Так, «власть» (коммуникативный код и «собственное значение» в полностью обособившейся политической системе) ориентирует политические коммуникации так, чтобы они не зависели от «внешнего мира» (от

своеобразия замещающей должность личности, от индивидуальных желаний и идиосинкразий, физиологически фундированных влечений, а также от коммуникаций в других социальных системах, от науки, экономики, интимных отношений, религии, искусства).

Но в условиях от-дифференциации социальных систем их независимость от их «внешнего мира» одновременно требует и своего рода «подчинения», ориентации исключительно на свой собственный внутрисистемный код, на латентный медиум конструирования специфического (в нашем случае – политического) типа общения.

Самым простым определением закрытого характера системы является ее специфически временная характеристика: совпадение *начала и конца ее операций*, их причин и их следствий. Другими словами, система должна уметь возвращаться к некоторому заданному состоянию. Например, «деньги» (коммуникативный код и «собственное значение» в экономической системе) являются и причиной, и следствием «платежа» как элементарной экономической операции. Для покупки товара требуются деньги, но их приобретение оказывается «следствием» его последующей продажи.

Однако здесь мы, по всей видимости, сталкиваемся с парадоксом, поскольку (обусловливаемая закрытым характером оперирования) автономия системы теряет в своей свободе, если начало ее операций должно как-то «совпадать» с результатами предыдущих операций. Как совместить эту автономию системы и замкнутый характер системных операций? Закрытость – как совпадение начала и завершения операций – как раз и требует появления *собственных значений*, обеспечивающих от-дифференцированность систем.

Этот тезис автономии и замкнутости коммуникативных систем в свою очередь апеллирует к более общему тезису общей теории систем о принципах системной замкнутости как основания для системной дифференциации<sup>10</sup>.

Итак, системы коммуникаций не зависят от их внешнего мира уже в силу того факта, что языковые выражения, слова и предложения, выстраиваются произвольно (тезис Де Соссюра). Ведь им ничего не соответствует в реальном мире, поскольку два противоположных процесса – генерализации и спецификации – сводят на нет любую привязку слова и объекта. Коммуникация приспособляется не к внешнему миру, а только к развившимся в ее рамках институциям (установкам, ожиданиям – своего рода «генотипу коммуникации»<sup>11</sup>).

Это не означает отсутствия каузальных воздействий внешнего мира на коммуникацию (без воздуха, транспортирующего звуки, и без бумаги, переносящей письменные знаки, она, естественно, не состоялась бы). Следовало бы говорить не о процессе приспособления к нему от-дифференцировавшихся форм мира (в данном случае коммуникации – к сознанию человека и к биологической жизни как двум внешним мирам коммуникации), но об обратном процессе: о диверсификации мира, об усилении его выделяющихся, отклоняющихся форм.

### **3. Наблюдение – индикация через дистинкции**

В соответствии с вышеозначенным тезисом коммуникацию, сознание и биологическую жизнь можно (очень условно) редуцировать к некоторому базовому процессу – *наблюдению*. Последнее можно понимать очень широко – как отличие своего от чужого, как обозначение через отличие, как *дистинкцию самореференции и инореференции*. В коммуникации всегда что-то становится объектом обсуждения (обозначения), тогда как все остальное в некотором смысле отклоняется, выходит за скобки актуального внимания или обсуждения. И в этой функции коммуникация ничем принципиально не отличается от биологической активности, в ходе которой организмы *различают* между своим телом и внешним миром, между опасностью и добычей. Очень приблизительно можно реконструировать этот процесс становления коммуникации как наблюдающей (= отличающе-обозначающей) активности.

### **4. Наблюдение организма и временные трансформации биологического познания**

Первой познавательной релевантной биологической дифференциацией у одноклеточных можно считать появление аксона, что привело к отделению «места познания» от «места реакции», сенсорные процессы от моторных и соответственно отделило *время* познания от *времени* непосредственной реакции организма на внешнее воздействие.



Рис. 1

Нейрон до образования аксона: клетка мгновенно реагирует на внешние процессы, в своей активности как бы совпадая с ними в пространственно-временном континууме

С образованием аксонов исчезает пространственно-временная «непосредственность реакции» и одновременность внешних ирригаций и ответов на внешнее воздействие, появляется своего рода время для «обдумывания поведения».

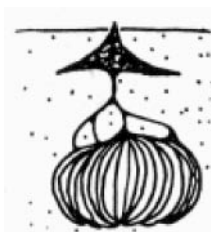


Рис. 2

Нейрон после образования аксона: аксон «удлиняет» время познания, снимает необходимо-моментальную реакцию нейрона на внешнее раздражение

Образование аксонов (дегенерировавших мускульных волокон) и синапсов привело к от-дифференциации собственно рецепторного слоя (отвечающего за *инореференцию* системы организма) от всех остальных нейронных сетей, в которых актуализируется *самореференция*, нейронно-сетевая трансляция электрохимических импульсов, которую можно интерпретировать как «описание описания описания...» и т. д.

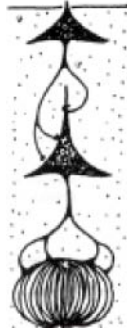


Рис. 3

Нейронная сеть, от-дифференцировавшаяся от рецепторного слоя

В конечном счете возникает закрытая рекурсивная сеть, транслирующая нейрохимические импульсы, несовпадающие в пространстве и времени с событиями и источниками раздражений, происходящими во внешнем мире организмов.

Количество «инореференциально»-ответственных рецепторов пропорционально «уменьшается» в сравнении с самореференциально функционирующими нейронными связями. Так, у человека «всего» сто миллионов рецепторов, «имеющих дело» с внешним миром его организма и отвечающих за «инореференцию», «передающих» десяти миллиардам синаптических щелей преобразованные внешние ирритации. В процессе внутренней трансляции нейрохимических импульсов от одного «внутреннего внешнего мира» к другому организма и осуществляется самореференция – «описание описания описания...». «Восприятие» внешнего мира в этой рекурсивной сети нейронов в этом смысле может интерпретироваться как собственная конструкция последних.

## 5. Наблюдение как различие, «повторное вхождение»

В противовес, казалось бы, очевидным утверждениям, по мнению ряда биологов<sup>12</sup>, процессы восприятия нельзя интерпретировать как восприятия простых качеств или свойств феноменов (цветов, шумов). Должно осуществляться восприятие *различий*



*между качествами, форм с двумя сторонами.* В восприятии простых феноменов или качеств (например, темного предмета) должна учитываться некая «другая сторона» восприятия или воспринятых качеств. Так, передаваемый (посредством двух так называемых эксцитарных синапсов) рецептором импульс гасится двумя тормозящими (ингибиторными) синапсами (следствием активности соседних нейронов). Лишь на границе воспринимаемого темного объекта тормозящих (ингибиторных) сигналов становится меньше.

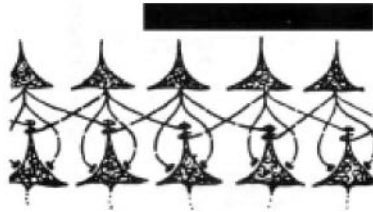


Рис. 4

Лишь в силу того, что ингибиторный синапс *не оказывает* тормозящего воздействия на соседний рецептор, т. е. фактически ничего не воспринимает, оказывается возможным восприятие границы темного объекта.

Этот пример из теории восприятия иллюстрирует случай «повторного вхождения» (re-entry): распространенный во всяком наблюдении (и коммуникативном обсуждении, и восприятиях и переживаниях системы личности) случай, когда инструментом наблюдения служит некоторая дистинкция, граница, а отличное или отклоненное (*ложное* в научной коммуникации, *незаконное* в системе права) возвращается и некоторым образом «рефлексируется» внутри системы. Именно «другая сторона» воспринимаемого объекта делает возможным его восприятие. Должно тем или иным способом рефлексироваться именно отсутствие сигнала (пустота, «ничто»), выступающее таким образом условием возможности восприятия, наблюдения или познания в широком смысле.

Пример ингибиторных синапсов демонстрирует, что не внешний мир, а именно его игнорирование («потенциализация»), замыкание системы в себе самой, обеспечивает возможности восприятия и его рекурсивной трансляции по нейронным сетям.

*Реальность, которую конструирует организм, оказывается следствием применения некоторой дистинкции, выступающей инструментом генерации такой реальности.*

Данный аксон на рисунке с ингибиторными синапсами указывает на особый характер наблюдения, возможность которого обеспечивается внутренней репрезентацией, *представлением отсутствующего сигнала*, но это «отсутствие» как бы операционализируется внутри рекурсивной сети наблюдений. Осуществляемое рецепторами «описание» двухмерной проекции в ходе рекурсивного процесса «движения» по нейронным сетям (уже на следующем шаге от рецепторов к биполярным клеткам, потом в постретинальных сетях к ганглиям) сменяется «описанием описания описания» первоначально воспринятого гештальта. Инореференция сменяется самореференцией. Тем самым словно бы исчезает внешний мир – прототип восприятия. В такого рода наблюдении наблюдения предмет оказывается следствием внутренних дифференциаций наблюдателя.

## 6. Понятие «слепого пятна» и автопойезис

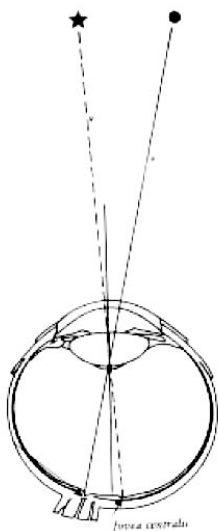


Рис. 5

Важной иллюстрацией вышеозначенного характера наблюдения (как в теории коммуникации, так и в теории сознания) служит понятие «слепого пятна». В зрительном поле человека существует значительный пробел<sup>13</sup>. Однако человек не видит никакого черного пятна или размытости, «не видит того, что он не видит», не замечает того обстоятельства, что большое поле восприятия ему недоступно. Но сам процесс зрительного восприятия как раз и осуществляется благодаря тому, что зрительный нерв осуществляет свои функции трансляции восприятия. Блокирование восприятия необходимо для самого процесса восприятия, причем само это блокирование не воспринимается.

«Слепое пятно» (в абстрактном, метафорическом смысле) и иллюстрирует неизбежность инструментального применения дистинкций (видимого и невидимого, переживаемого и переживания, наблюдения и наблюдаемого, инструмента и объекта) и их функцию: конструирования наблюдаемых феноменов. Такого рода дистинкции делают возможным наблюдение (познание) различенного, но сами как познавательные средства остаются незримыми.

### **7. Автопойезис как производство и конденсация «собственных значений»**

Циркулярные, рефлексивные процессы реализуются не только биологическими организмами, машинами и математическими операциями, но также характерны для функционирования сознания и коммуникации. Эти функции поддерживают воспроизводство той или иной системы, как бы возвращая ее в прежнее, заданное состояние, несмотря на внесенное извне возмущение. В общей теории систем это свойство получило название эквивинальности<sup>14</sup>.

С философской точки зрения это воззрение не выглядит таким уж безобидным, поскольку в этом случае приходится в каком-то смысле отождествлять цели и причины, прошлые и будущие ориентиры поведения. Что позволяет приписывать цели и машинам, способным осуществлять «биомимезис» (имитацию жизни), а целеориентированное (и в этом смысле свободное) человеческое поведение можно теперь объяснить причинно или детерминистски. В круговых, или рекурсивных, процессах снимается различие между традиционно разводимыми *causa efficiencie* и *causa finalis*, ведь каждая операция использует результаты ее прошлого развития в качестве заданной цели.

Ряд исследователей, понимавших себя в качестве кибернетиков<sup>15</sup>, сосредоточились на поиске этих причинно-целевых единств: «фиксированных точек» в поведении биологических организмов и сознании человека, «собственных значений», с которых начинаются и к которым возвращаются те или иные системы. Процесс, который приводит к формированию «собственных значений», формализует особая логическая операция, которую Спенсер Браун назвал «конфирмация», повторяющимся снова и снова подтверждением

однажды произошедшего события, которое затем превращается в устойчиво функционирующий ориентир поведения<sup>16</sup>. В коммуникации такой процесс Никлас Луман называет «конденсацией» смысла. Эти процессы выступают аналогами выше обсуждавшихся «собственных значений» и имеют своей функцией связывание элементов коммуникативных систем (т. е. индивидуальных коммуникативных вкладов) системы друг с другом, т. е. обеспечивают неслучайное подсоединение коммуникативных вкладов участников коммуникации<sup>17</sup>.

На понятии «собственных значений» основывается понятие автопойезиса. Автопойезис – это такая организация элементов, которая является своим «собственным значением», то есть таким производительным взаимодействием компонентов системы, результатом которого становятся именно эти компоненты. Набор явлений аутопойезиса чрезвычайно широк: кирпичный завод выпускает кирпичи, из которых он сам и строится; организм (органы и клетки), произведенный в результате взаимодействия органов и клеток; язык как особая система, позволяющая говорить о языке, то есть о самой себе, и – через язык – решать вопрос о том, что надо говорить, какие слова произносить. Функцией автопойезиса является воспроизводство целостности, порождающей ее элементы. К такого рода явлениям относится и *социология* как коммуницирующее сообщество, выстраивающая свои *теории общества*, притом что сами эти теории являются коммуникативными актами, а следовательно, представляют собой такое же *общество* (множество коммуникаций). В этом случае теория и объект теоретических описаний в некотором смысле совпадают. Точно так же и теория познания, наблюдающая научное познание, сама является таковой и участвует в построении науки.

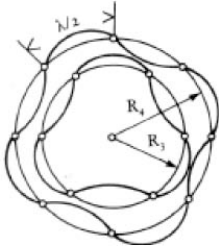
Таким образом, коммуникация не совершается вне своей собственной истории, требует других коммуникаций, реагирует на прошлые коммуникации, избегает и отклоняет одни подсоединяется и обеспечивает подсоединение к другим. Соответственно, задачей теории коммуникаций становится поиск регулярностей в связях коммуникаций, в их неслучайных способах выстраивания, дифференциаций на типы (научные, политические, экономические и др.), фиксация ориентиров или кодов (коммуникативные медиумы: истина, власть и т. д.) для таких выстраиваний. Но эти задачи

поисков «латентных кодов» коммуникации можно ставить лишь на уровне наблюдения второго порядка, посредством самонаблюдения в коммуникациях особого типа. Поскольку теория коммуникации и сама является всего лишь особым от-дифференцировавшимся типом коммуникации, это лишний раз показывает, что констатация всякого порядка есть произвольная (конструктивная) внутренняя функция самой системы. Порядок в обществе обнаруживается (наблюдается на основе задействования тех или дистинкций) различного рода подсистемами коммуникаций, в данном случае коммуникационной теории.

### Примечания

- <sup>1</sup> Религия, по Дюркгейму, предстает одной из рефлексий общественных порядков (*Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris, 1912.*)
- <sup>2</sup> *Müller H. Systemtheorie / Literaturwissenschaft // Bogdal K.-M. Neue Literaturtheorien. Eine Einführung. Opladen, 1997. P. 208–224.*
- <sup>3</sup> *Луман Н. Общество как социальная система. М., 2004. С. 34.*
- <sup>4</sup> Простейшей иллюстрацией появления собственных значений в результате самоприменений некоторого процесса к самому себе могут служить некоторые математические функции. Скажем, функция  $f(x/2+1)$  в случае ее самоприменения (при  $x$ , стремящемся к бесконечности, и при любом  $x_0$ ) получает *собственное значение*, равное 2. Пусть  $X_0=0$ . Тогда значение функции  $(X_0/2+1)$  равно 1. Последнее значение (т. е. результат предшествующей операции) берем в качестве  $X_1$ . Тогда значение функции  $(X_1/2+1)$  равно 1,5. Последнее значение (результат прошлой операции) берем в качестве  $X_2$ . Тогда значение функции  $(X_2/2+1)$  равно 1,75. Нетрудно понять, что при любых  $X_0$  при многократном *самоприменении* функции ее значение приближается к граничному значению 2, что и является ее «собственным значением» – результатом множества рекурсивных операций.
- <sup>5</sup> Для достижения коммуникативного консенсуса, очевидно, не требуется реконструкции объективных свойств предмета, которые бы словно при нуждали к согласию на основании порождаемого таким объектом восприятия (общего для всех членов сообщества), как это имеет место в среде ученых, где эксперимент и данные наблюдения служат основой intersubjectивности. Как показал Мертон в своей концепции латентных функций, коммуникация (скажем, магический танец для вызова дождя) интегрирует сообщество своим осуществлением вопреки фантастичности объекта коммуникации.
- <sup>6</sup> *Foerster H.V. Wissen und Gewissen. Versuch einer Bruecke. Suhrkamp, 1993.*
- <sup>7</sup> *Луман Н. Общество общество. М., 2011.*
- <sup>8</sup> *Watzlawick P. Pragmatics of Human Communication. N.Y., 1967.*

- 9 Так в случае знаменитой античной проблемы «квадратуры круга» наблюдению и измерению были первоначально доступны диаметр и окружность, в то время как конструирующее их *различение* (=единство), а именно «собственное значение»  $\pi$ , оставалось ненаблюдаемым.
- 10 Для иллюстрации этого тезиса часто приводят пример с волнами Де Бройля, где рекурсивность, т. е. ориентация будущего события на прошлое состояние, и лежит в основе внутренней обособленности системы.



Если число волн (с соответствующей длиной) является целым числом, а следовательно, конец и начало волн совпадают друг с другом, то каждая орбита получает свой собственный радиус («собственные значения»):  $R_3$ ,  $R_4$  и именно такой, который не позволяет волнам усилить или погасить друг друга, а это и обеспечивает сохранение «автономии», «дифференцированности» орбит электронов и, как следствие, – стабильность атома. См.: *Foerster H.V.* Op. cit. S. 242.

- 11 Об этом см.: *Луман Н.* Эволюция. М., 2005.
- 12 *Maturana H.R., Uribe G., Frank A* Biological Theory of Relativistic Color Coding in the Primate Retina. Archivos de Biología y Medicina Experimentales. Santiago de Chile, 1968.
- 13 Так, если прикрыв один глаз, смотреть на определенную точку на расстоянии примерно сорока сантиметров, то фигура, помещенная справа от нее, становится невидимой. Объяснение этого феномена состоит в том, что изображение невидимой фигуры попадает на нечувствительный к свету участок сетчатки, откуда выходит зрительный нерв.
- 14 Понятие, впервые сформулировано у Л.Берталанфи: *Bertalanffy L.* Das biologische Weltbild. Bd. I. Bern, 1949.
- 15 *Foerster H.V.* Wissen und Gewissen. Versuch einer Bruecke. Suhrkamp, 1993.
- 16 Подробнее см. ниже в моей статье, посвященной понятию формы и пониманию.
- 17 «Мы повторяем одни и те же наблюдения, обнаруживая тем самым, подтверждаются они или не подтверждаются. Это ведет к “конденсации” смысловых единиц... Мы наблюдаем в разное время одно и то же, в различных ситуациях, с различных углов зрения. Это приводит к дальнейшему обогащению конденсированного смысла и наконец – к абстрагированию значения того, что в различных наблюдениях является как одно и то же. ...Здесь не может быть достигнуто никакой уверенности в согласованности с внешним миром системы. Мы можем быть уверены лишь в том, что можно будет воспроизвести эти состояния», – пишет Н.Луман (*Luhmann N.* Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realitaet // Soziologische Aufklaerung. Bd. 5: Konstruktivistische Perspektiven. Westdeutscher Verlag, 1991).

## РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

### АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ

*А.Л. Никифоров*

#### **Специфика описания в естествознании и в истории**

Когда говорят о научной рациональности, то имеют в виду, прежде всего и главным образом, понятие рациональности, сформировавшееся на основе анализа естественных наук. Однако в применении к гуманитарным наукам, в частности к истории, это понятие оказывается чрезмерно узким: здесь порой трудно говорить об эмпирическом подтверждении или опровержении, структура гуманитарного знания часто весьма далека от идеала гипотетико-дедуктивной теории, понятие закона оказывается весьма расплывчатым и т. п. Стандарты рациональности в гуманитарных науках очевидно отличаются от стандартов естествознания. Тем не менее они не исключают, а часто просто дополняют друг друга в области истории, в частности в историографических описаниях.

#### **I**

В философии науки обычно выделяют три основные функции научной теории и вообще научного познания – описание, объяснение и предсказание. Но об описании говорят мало, и дискуссии, в основном, ведутся по поводу различных способов объяснения и ценности предсказаний. Вот, например, Р.Карнап свою прекрасную книгу «Философские основания физики»<sup>1</sup> начинает с рассмотрения научного объяснения и роли законов в объяснении. Об описаниях он говорит только то, что они относятся

к единичным фактам и выражаются сингулярными предложениями: «Джимми сейчас плачет», «Утром в лаборатории я пропустил электрический ток через проволочную катушку с железным сердечником и обнаружил, что сердечник стал магнитным», «Вот этот ворон, сидящий сейчас на заборе, черный» и т. п. Научное исследование часто начинается с описания такого рода ситуаций, положений дел, фактов. Сначала мы констатируем некоторое положение дел, а потом пытаемся объяснить его. Сначала мы замечаем, что Джимми плачет, а потом уже ставим вопрос: «Почему он плачет?». И научные теории иногда подразделяют на описательные и объяснительные. Считается, что первые возникают на начальных этапах развития науки, а затем их сменяют объяснительные теории, отвечающие не только на вопросы «как?» или «что?», но и на вопрос «почему?»<sup>2</sup>.

В истории же и вообще в социальных науках главная задача чаще всего как раз и состоит в том, чтобы дать описание событий прошлого или настоящего. Мы хотим знать, что было и что происходит с нами сейчас. Продолжается ли сейчас экономический кризис? Что растет – безработица или занятость? Какими темпами увеличивается народонаселение Земли? Сокращается ли население России в последние десятилетия? Объяснение, хотя и считается важным, но не представляет первостепенной задачи историка, социолога, экономиста, лингвиста и т. д. Налицо очевидная разница в отношении к описанию в естественных и общественных науках. Почему? Не потому, конечно, что общественные науки в своем развитии отстали от естествознания. Сегодня это объяснение, бывшее не так давно популярным, вызывает серьезные сомнения. Может быть, дело в том, что описание в общественных науках имеет существенно иную природу, нежели описание в естествознании? Но тогда в чем специфика описания в социальных науках?

## II

Сначала посмотрим, что представляет собой описание в естествознании. Возьмем в качестве примера описание Ньютоном его знаменитых опытов со светом.



«Опыт 12. В середине черной бумаги я сделал круглое отверстие около одной пятой или шестой части дюйма в диаметре. Я заставил падать на эту бумагу спектр однорядного света..., таким образом, что некоторая часть света проходить через отверстие в бумаге. Эту пропущенную часть света я преломлял призмой, помещенной за бумагой, заставлял падать перпендикулярно на белую бумагу на расстоянии двух или трех футов от призмы; я нашел, что спектр, образованный на белой бумаге этим светом, не был удлинненным, как при преломлении сложного солнечного света (в опыте третьем), он был совершенно круглым...»<sup>3</sup>.

Это один из опытов Ньютона по разложению света с помощью призмы – опытов, которые порой воспроизводят в средней школе на уроках физики. Ньютон использует в своем описании обычный разговорный язык, дополненный некоторыми научными терминами (ось, параллельность и т. п.). Любой человек, повторив этот опыт, увидит все те эффекты, которые наблюдал Ньютон, и его описание того, что он увидит, мало чем будет отличаться от описания Ньютона. Слова и термины естественнонаучного описания относятся либо к чувственно воспринимаемым объектам и их свойствам, либо к идеализированным объектам математики или конкретной теории, либо к используемым техническим средствам. Значение этих слов понимается всеми более или менее одинаково, поэтому описание одного человека почти ничем не будет отличаться от описания другого человека. Может быть, поэтому в методологии естествознания описание не порождает особых проблем и не вызывает особого интереса.

Посмотрим еще на одно описание, принадлежащее нашему известному химико-физику Н.Н.Семенову, открывшему химические цепные реакции: «Установка Вальта была устроена так. Из сосуда, содержащего кусочек желтого фосфора, тщательно откачивали воздух. Сосуд нагревался, и при разных температурах, в интервале от 16 до 50 градусов Цельсия, в нем устанавливались разные концентрации паров фосфора. Кислород впускался в сосуд под тем или другим давлением... В первых же опытах Харитон и Вальта натолкнулись на совершенно неожиданное явление. Оказалось, что при достаточно низких давлениях кислорода, измеряемых сотысячными долями атмосферы, пары фосфора вообще не вступали в реакцию с кислородом и никакого свечения не

было. Происходило нечто обратное тому, что следовало ожидать! Это было очень удивительно – ведь всегда считалось, что молекулы фосфора в любых условиях энергично и быстро соединяются с молекулами кислорода, образуя пятиокись фосфора»<sup>4</sup>. Здесь мы вновь встречаем слова естественного языка, термины химии и общенаучные термины. Опять-таки любой ученый, повторивший этот опыт, обнаружит то же, что наблюдали экспериментаторы.

Теперь посмотрим на описание историка. Вот как современный историк описывает события, предшествовавшие Куликовской битве.

«К лету 1380 г. Мамай основательно подготовился к решающей схватке с Москвой. Не надеясь после Вожи только на собственные силы, он заключил союз с новым великим князем литовским Ягайлой Ольгердовичем. Власть Мамаю признал Олег Иванович Рязанский, видимо, желая избежать нового разгрома своего княжества (в то же время он предупредил Дмитрия Ивановича о выступлении Орды)<sup>5</sup>. В начале кампании, когда Мамай с войском кочевал за Доном, а Дмитрий находился в Коломне, Мамаевы послы привезли требование платить выход как при Джанибеке, “а не по своему докончанию. Христолюбивый же князь, не хотя кровопролитья, и хоте ему выход дати по крестьянской силе и по своему докончанию, како с ним докончал. Он же не въсхоте”»<sup>6</sup>. Под “своим докончанию” имеется в виду определенно соглашение, заключенное Дмитрием с Мамаем во время личного визита в Орду в 1371 г. С 1374 г. Москва перестала соблюдать это докончание; теперь, в условиях приближения Мамаю в союзе с Ягайлой, Дмитрий соглашался вернуться к его нормам. Но Мамай, рассчитывая на перевес в силах, не уполномочил своих послов идти на уступки, и в этом была его ошибка»<sup>7</sup>.

Легко увидеть, что описания естествоиспытателей и историка довольно сильно различаются. Попробуем отдать себе отчет, чем именно?

### III

Первое, что сразу же бросается в глаза, – обилие ссылок в описании историка. Это вполне понятно, ибо историк никогда не имеет дела непосредственно с теми событиями, которые он опи-

сывает. Ньютон мог сам непосредственно наблюдать разложение света, проходящего через призму, и описывал то, что видел. Экспериментаторы Н.Н.Семенова сами видели отсутствие вспышки света при взаимодействии фосфора с кислородом. Любой человек, повторивший опыт Ньютона, и любой ученый, повторивший опыт Н.Н.Семенова, увидит то же самое, что видели они, и опишет увиденное почти теми же словами. Но между историком и описываемым им событием стоит источник, из которого историк только и узнает о событии. Поэтому он вынужден указывать источники, опираясь на которые, он дает свое описание. Отсюда постоянные ссылки на документы в историческом описании. Ньютону ни на кого не надо было ссылаться – он все видел сам. Историк сам ничего не видел, он узнал о фактах прошлого из дошедших до него свидетельств. Если историк дает описание некоторого события, но не может указать источник, из которого он узнал об этом событии, то его описание будет отвергнуто как не имеющее научной ценности.

Вот первое отличие естественнонаучного описания от описания историка<sup>8</sup>: физик или химик с помощью чувственного восприятия или приборов вступает в непосредственный контакт с описываемыми им явлениями; историк описывает события, свидетелем которых он не был и о которых узнал от других людей.

Еще более важное отличие состоит в том, что историк описывает *интенциональное* поведение людей, в то время как физик описывает *неинтенциональное* поведение физических объектов. Луч солнечного света, проходя через призму, разлагается на составляющие его цвета не потому, что ему так «хочется», а потому, что такова его естественная природа и иначе он вести себя не может. Магнитная стрелка отклоняется вблизи проводника с током под влиянием возникающего вокруг проводника магнитного поля, а не потому, что электрический ток вызывает в ней симпатию или отвращение. Поэтому в описаниях физика нет слов «думает», «хочет», «считает» и т. п. А в описании историка они есть: Мамай «не надеялся», Олег Рязанский «не хотел», Дмитрий «соглашался» или «преследовал цель», люди «оценивают» или «испытывают страх» и т. п. Таким образом, описания историка и социолога отличаются от описания естествоиспытателя наличием «интенциональных» слов – слов, выражающих намерения, цели, желания людей.

Конечно, и физик может дать описание поведения человека, не прибегая к интенциональным словам: поднял ногу, сжал пальцы в кулак, издал звук и т. п. Но историк не может ограничиться таким описанием. «Нам зачастую кажется, – пишет в связи с этим известный историк И.Н.Данилевский, – что мы изучаем объективную реальность – то, что “на самом деле происходило в прошлом”. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что “на самом деле” нас интересует вовсе не собственно *объективная* (здесь и далее: курсив мой. – А.Н.) реальность – точнее, не то, что за этими словами представляется обыденному мышлению. Скажем, вряд ли нас волнует тот факт, что однажды, около 227000 средних солнечных суток назад, приблизительно на пересечении 54 градуса с.ш. и 38 градуса в.д., на сравнительно небольшом участке земли (ок. 9,5 км<sup>2</sup>), ограниченном с двух сторон реками, собралось несколько тысяч представителей биологического вида *Homo sapiens*, которые в течение нескольких часов при помощи различных приспособлений уничтожали друг друга. Затем оставшиеся в живых разошлись: одна группа отправилась на юг, а другая на север... Между тем именно это и происходило, *по большому счету*, “на самом деле”, *объективно* на Куликовом поле... Нет, нас интересует совсем иное. Гораздо важнее, кем себя *считали* эти самые “представители”, *как* они *представляли* свои сообщества, *из-за чего* и *почему* они пытались истребить друг друга, как они *оценивали результаты* происшедшего акта самоуничтожения, и т. п. вопросы. Так что *нас, скорее, волнует то, что происходило в их головах, а не то, что происходило “на самом деле”...»*<sup>9</sup>.

Историк здесь говорит о том, что чисто естественнонаучное описание исторических событий неинтересно (он считает это описанием того, что происходило «на самом деле») и не нужно, нам важно за физическими наблюдаемыми движениями и процессами увидеть цели, намерения, желания людей. И эти цели и намерения историк включает в свое описание<sup>10</sup>.

#### IV

Но если историк в свое описание включает интенции людей, участвующих в описываемых им событиях, то это означает, что его описание включает в себя *понимание* действий этих людей. В истории

и вообще в социальных науках не бывает такого, что сначала идет описание, а потом мы пытаемся понять описываемые действия и события. Понимание входит в само описание и последнее невозможно без первого. Если мы попытаемся оторвать описание от понимания, то наше описание будет уже не историческим, а естественнонаучным (которое не интересует историка, как считает И.Н.Данилевский). Наблюдая за действиями двух людей, естествоиспытатель может описать их так: один человек поднимает руку, отводит ее в сторону, затем приближает раскрытую ладонь к лицу собеседника и приводит в соприкосновение свою ладонь с его щекой. Представитель социальных наук опишет это так: один человек дал пощечину другому. Дать пощечину – это интенциональный акт, намеренное действие, и социальное описание включает в себя понимание интенции физического действия. Третья особенность социального описания заключается в том, что оно включает в себя понимание.

Вопрос о том, что такое понимание и как оно осуществляется, чрезвычайно запутан и, кажется, не имеет до сих пор внятного ответа. Однако мы можем оставить в стороне общую проблему понимания и ограничиться лишь одной стороной понимания, которую можно представить более или менее ясно.

По-видимому, никто не будет спорить с тем, что понимание включает в себя *интерпретацию*. И если неясно, что такое понимание, то об интерпретации можно говорить достаточно внятно. В логической семантике интерпретацией называют придание значения, смысла символам и выражениям формального языка. При чисто синтаксическом представлении выражения формального исчисления выступают просто как наборы и комбинации типографских значков. Если смотреть на язык с точки зрения синтаксиса, то это еще вовсе не язык: его выражения не являются символами чего-то, вне их находящегося, это просто материальные предметы – следы мела на доске, бороздки на камне, пятна краски на стене или на бумаге, но еще не знаки. Лишь после того, как мы придадим им интерпретацию, т. е. скажем, что такие-то значки обозначают индивидуальные предметы, такие-то – свойства этих предметов и т. д., лишь после этого пятна типографской краски приобретают смысл и значение и начинают говорить нам о чем-то вне их. Только тогда они становятся языком. Интерпретация – придание смысла и значения материальным предметам, их отношениям и т. д.

Такое истолкование интерпретации полезно и за пределами логической семантики, в частности при понимании действий людей. Действия человека с точки зрения внешнего наблюдателя представляют собой ряд физических телодвижений, но мы почти никогда не описываем самих этих телодвижений – мы усматриваем за ними какую-то цель, желание, стремление, короче, какую-то интенцию и включаем в свое описание действия эту интенцию: не просто прикоснулся рукой к щеке, а «дал пощечину». Понять или интерпретировать действия субъекта – значит приписать им некоторый смысл – интенцию, которой руководствовался субъект, совершая эти действия. Ясно, что возможны разные интерпретации: пытаюсь понять некоторые действия, разные наблюдатели могут приписать им разные интенции, скажем, один человек опишет некоторое действие как «дал пощечину», а другой наблюдатель может те же самые действия описать иначе: «ласково потрепал по щеке».

Описания историков почти всегда включают в себя интерпретацию, т. е. историк всегда приписывает действиям своих персонажей какие-то интенции. Более того, мы видели из приведенных выше слов И.Н. Данилевского, что некоторые из них считают только интенции важными, полагают, что самое интересное для историка – мысли и чувства рассматриваемых им людей, а внешняя, физическая сторона их деятельности несущественна. Может быть, это и не совсем так, но для нас важно то, что сами историки признают необходимость интерпретаций для исторического описания.

Здесь, правда, возникает кардинальный вопрос: можем ли мы оценивать интерпретации историков как правильные или неправильные, адекватные или неадекватные? Вот, например, историки описывают знаменитое покаяние императора Священной римской империи Генриха IV перед папой Григорием VII в Каноссе: «Вдруг Генрих является в Каноссу. Удивленный Григорий отказывается принять его. Какие условия хотел он поставить Генриху? Если оба главных летописца, Бертольд из Рейхенау и Ламберт из Герсфельда, по этому вопросу расходятся, то, по крайней мере, в одном пункте они согласны: в течение трех дней, с 25 до 27 января, король принужден был босиком и не принимая пищи ожидать в снегу перед оградой, чтобы Григорий смиростивился и простил его. Наконец, на четвертый день, папа допустил его к себе и снял с него отлуче-

ние...»<sup>11</sup>. Один историк припишет Генриху искреннее стремление раскаяться; другой – увидит в его поведении хитрость и лицемерие; третий – страх лишиться короны и т. д. Можно ли решить, кто из них прав? Для этого надо было бы проникнуть в голову Генриха и увидеть, какими мыслями и чувствами он руководствовался, стоя три дня босиком на снегу. Но это невозможно. Поэтому все интерпретации рискованны. Даже если сам рассматриваемый персонаж утверждал, что руководствовался такими-то намерениями и целями, это еще не служит гарантией того, что так и было. Он может лгать, и мы знаем, как часто лгут авторы мемуаров, стремясь якобы благими намерениями оправдать свои действия. Но историк способен подтвердить свою интерпретацию, сославшись на дальнейшее поведение Генриха, скажем, на продолжение его борьбы с папой. Тогда интерпретацию, приписывающую ему искреннее раскаяние, придется отбросить, поскольку она совершенно не согласуется с его последующими шагами.

На что опирается историк, приписывая своим героям те или иные интенции? По-видимому, здесь мы можем вернуть на место эмпатию, о которой часто говорили герменевтики в связи с пониманием. Когда мы пытаемся интерпретировать физическую наблюдаемую активность некоторого человека, т. е. приписать ей некоторую интенцию, то мы ставим себя на его место и предполагаем, какими мыслями и чувствами мы могли бы руководствоваться, совершая действия, подобные наблюдаемым. Если бы я оказался в условиях Генриха IV, то зачем бы я пошел в Каноссу? Я мог бы испытывать страх потерять корону. Я мог бы стремиться уменьшить враждебность мятежных немецких князей, продемонстрировав им свое примирение с папой. Я мог намереваться обмануть папу притворным раскаянием, чтобы потом нанести ему неожиданный удар. И любую из этих интенций я могу приписать Генриху. Конечно, некоторые из моих интерпретаций могут расходиться с известными данными, скажем, с рассказами летописцев о том, что говорил и делал Генрих во время своего пребывания в Каноссе или после этого. Тогда они будут отвергнуты как ложные. Но если моя интерпретация согласуется со всеми имеющимися данными, она ничуть не хуже любой другой. Таким образом, в эмпатии нет ничего мистического: она предполагает постановку себя на место другого человека; осознание тех мыслей и чувств, которые могли бы возникнуть у вас в тех условиях,

в которых находился ваш герой; приписывание ему этих мыслей и чувств в качестве побуждения к действию. Конечно, социокультурные различия между историком и людьми прошлых далеких эпох и цивилизаций могут приводить к ошибкам в интерпретациях и в любом случае требуют осторожности. Тем не менее древние жители Египта, Ассирии и Вавилона, античные греки и римляне, бедуины Африки и туземцы островов Тихого океана, наши современники – все мы принадлежим к одному биологическому виду *homo sapiens*, одинаково страдаем от голода и жажды, испытываем страх или любовь, восхищаемся красотой. Поэтому мы способны понять друг друга. Поведение существа, полностью отличного от нас, было бы нам совершенно непонятно, у нас с ним отсутствовал бы общий родовый базис приписывания интенций.

## V

Итак, описание каких-то событий прошлого историком включает в себя понимание этих событий – их интерпретацию. Но это означает, что описание историка включает в себя также и *объяснение*. В истории нет резкой грани между описанием и объяснением, историк одновременно отвечает и на вопрос «как?» или «что?», и на вопрос «почему?».

Это принципиально важный момент, на котором следует задержаться. Физик описывает неинтенциональное поведение объектов, лишенных сознания: «Железо тонет в воде», «Зимой ночи становятся длиннее, а дни – короче», «Планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам», «Выключатель включен, а свет не горит» и т. п. Ему не нужно понимать поведение этих объектов, ибо их поведение определяется не волей и желаниями, а законами природы. Описав поведение этих объектов, физик затем может поставить вопрос: почему они ведут себя именно таким образом? Почему зимой ночи становятся длиннее? И ответ на этот вопрос дает объяснение: потому, что ось вращения Земли наклонена к плоскости земной орбиты. Здесь описание и объяснение четко отделены друг от друга и описание может существовать без объяснения. История естествознания показывает, что многие явления были описаны, но получили объяснение лишь спустя много времени.



Историк и вообще обществовед часто вынужден описывать поведение или, лучше сказать, деятельность людей, которая побуждается и направляется целью, мотивом, чувством. Деятельность человека в отличие от поведения физического объекта имеет две стороны – внешнюю, наблюдаемую активность и внутреннюю, ненаблюдаемую интенциональную сторону. И если мы ограничимся только описанием ее внешней наблюдаемой стороны, мы не опишем деятельности человека. Вот мы видим: человек периодически опускает тряпку в ведро с водой, вынимает мокрую тряпку и возит ею по полу. Достаточно ли нам этого для описания его деятельности? Нет, это лишь описание внешней наблюдаемой физической активности, но еще не деятельности. В описание деятельности должна быть включена еще и ее внутренняя сторона – интенция, цель, которую ставит перед собой действующий индивид: он хочет помыть пол. Описание деятельности интенционально, в нем соединена фиксация наблюдаемой активности с интенцией, побуждающей и сопровождающей эту активность.

Но, включив в описание деятельности интенцию, мы одновременно дали объяснение наблюдаемой активности: зачем, почему человек совершает такие-то движения? Наше описание «Он моет пол» отвечает на этот вопрос и объясняет его наблюдаемые движения. В своей работе «Объяснение и понимание»<sup>12</sup> фон Вригт говорит о том, что так называемый практический силлогизм, описанный Э.Энском в известной книге «Интенция», может служить моделью объяснения в социальных науках. Это рассуждение отличается от известного нам обычного аристотелевского силлогизма тем, что в качестве заключения из его посылок следует не суждение, а действие (поэтому он и называется «практическим»). Например, когда мы описываем некоторое поведение фразой «Человек моет пол», то в этой фразе скрыто присутствует рассуждение, объясняющее наблюдаемое нами поведение:

*Человек хочет вымыть пол.*

*Он считает, что для достижения этой цели нужно окунуть тряпку в ведро с водой и водить этой тряпкой по полу.*

*Вот поэтому-то он и совершает наблюдаемые нами действия.*

Здесь, включая намерение, цель человека в наше описание его действий, мы одновременно объясняем эти действия. Таким образом, описание в социальных науках, будучи интенциональным,

является в то же время и объяснением. Той резкой разницы между описанием и объяснением, временного промежутка между ними, которые характерны для естественных наук, нет в социальных науках, в частности в истории.

Когда вы наблюдаете некоторую последовательность физических действий человека, вы можете спросить: что он делает? Зачем? Его ответ указывает на интенцию: ловлю рыбу, строю дом, иду на работу. Это указание на интенцию дает вам понимание его действий и одновременно объясняет их вам, отвечает на вопрос «почему он это делает?». Аналогично этому и историк, приписывая историческому персонажу какие-то интенции, не только понимает смысл его действий, но одновременно и объясняет их. Вот, например, известный русский историк С.Ф.Платонов описывает деятельность Петра I после неудачного Азовского похода 1695 г.: «Петр не падал духом, не прогнал иноземцев и не оставил предприятия. Впервые показал он здесь всю силу своей энергии и в одну зиму, с помощью иноземцев, построил на Дону, в устье реки Воронеж, целый флот морских и речных судов. Части галер и стругов строили плотники и солдаты в Москве и в лесных местах, близких к Дону. Эти части свозились в Воронеж и из них собирались уже целые суда. Много препятствий и неудач преодолел царь... На Пасху 1696 г. в Воронеже уже были готовы 30 морских судов и более 1000 речных барок для перевозки войск. В мае из Воронежа Доном двинулось русское войско к Азову и вторично осадило его. На этот раз осада была полной, ибо флот Петра не допускал к Азову турецких кораблей. На суше под единоличным начальством боярина Шеина дела шли счастливо. Петр сам присутствовал в войске (в чине капитана) и, наконец, дождался счастливой минуты: 18 июля Азов сдался на капитуляцию»<sup>13</sup>.

Мы видим, что здесь историк и описывает какие-то события и действия, и одновременно объясняет их: почему Азов на этот раз пал? – Потому, что он был блокирован флотом Петра. – Почему он был блокирован? – Потому, что Петр всю зиму строил корабли. – Почему он строил корабли? – Потому, что он не пал духом после первой неудачи и понимал, что для взятия Азова нужен флот. В истории нет резкой границы между описанием и объяснением: описание включает в себя интерпретацию; интерпретация дает понимание и одновременно объясняет; следовательно, описание

сливается с объяснением. Когда историк дает описание каких-то действий, каких-то исторических событий, то его описание уже объясняет их, поэтому часто историку и не нужно отдельно ставить вопрос об объяснении: он уже дал его. Конечно, возможны дальнейшие, более глубокие объяснения, но они, по-видимому, уже выходят за рамки собственно исторического исследования и принадлежат сфере философии истории, социологии и т. п.

## VI

Таким образом, теперь мы можем более или менее ясно сказать, чем отличается естественнонаучное описание от описания в истории и общественных науках.

1. **Естествоиспытатель описывает то, что он непосредственно фиксирует с помощью своих органов чувств или приборов, он вступает в непосредственный контакт с теми явлениями, эффектами, событиями, которые он описывает.** Историк лишен такой возможности, его описание всегда опирается на свидетельства других людей, на сохранившиеся показания людей, сообщающих об интересующих его событиях, т. е. на источники. Поэтому если в описании естествознания нет ссылок на чьи-то посторонние свидетельства, в описании истории они необходимы.

2. **Естествознание описывает неинтенциональное поведение природных объектов, поэтому в его описаниях нет ссылок на то, что они «думают» или «чувствуют», «к чему стремятся».** Историк и социальный ученый описывает интенциональное поведение людей, преследующих какие-то цели, побуждаемых какими-то мыслями и страстями. Поэтому наряду с фиксацией наблюдаемых физических движений историк включает в свое описание указание на мысли и чувства, стоящие за этими движениями. Это вынуждает его использовать термины, выражающие ментальные состояния действующих людей.

3. **Интенции действующих людей не наблюдаемы в отличие от наблюдаемых явлений, описываемых естествознанием.** Поэтому историк вынужден сначала понять их, чтобы включить в свое описание. Понимание предполагает интерпретацию, т. е. приписывание интенций наблюдаемому поведению. Интерпретация включена

в историческое описание. Разные историки могут интерпретировать одни и те же события по-разному, поэтому различие в исторических описаниях одних и тех же событий вполне естественно.

4. Наконец, интерпретация, т. е. приписывание намерений, целей, желаний действующим субъектам, одновременно дает объяснение их действиям. Поэтому историческое описание одновременно является объяснением описываемых событий. В истории и в общественных науках нет, по-видимому, резкой границы между описанием и объяснением.

**В заключение следует, по-видимому, заметить, что все сказанное выше относится к описаниям интенциональных действий людей.** Однако историки, социологи, экономисты часто просто фиксируют некоторые события, процессы, не обращаясь к интенциям участвующих в этих событиях людей, описывают функционирование институтов, учреждений, общественных организаций и т. п. Тогда мы получаем нечто, весьма похожее на описания в естественных науках. Например: «В 1450 г. татары под предводительством Малымбердея пытались подойти к Оке, но были разбиты посланными Василием, находившимся тогда в Коломне, войсками (включавшими служилых татар); примечательно, что бой произошел на р. Битюг, левом притоке Дона в его среднем течении – так далеко на юг, в степные владения Орды московские войска прежде не заходили.

В 1451 г. сын Сеид-Ахмета Мазовша сумел, пользуясь нерадивостью воеводы князя Ивана Звенигородского, беспрепятственно перейти Оку и 2 июля подошел к Москве. Великий князь со старшим сыном Иваном отправился за Волгу. Татары зажгли посады, но приступ к Кремлю был отбит. Ночью ордынцы поспешно отступили.

В 1455 г. Сеидахметовы татары переправились через Оку ниже Коломны, но на сей раз были вовремя встречены и разбиты»<sup>14</sup> (сноски в тексте я опустил. – *А.Н.*). Здесь мы имеем, в сущности, хронологическое перечисление походов татар на Русь без указания намерений и целей нападавших. Это почти естественнонаучное описание, которых тоже немало в исторических сочинениях.

В целом в описаниях прошлого историком переплетаются как интенциональные описания деятельности людей, так и описания неинтенциональных событий. Это говорит о том, что в историче-

ском описании осуществляется синтез принципов естественнонаучной и гуманитарной рациональности, что и делает повествования историков столь сложными и интересными.

### Примечания

- <sup>1</sup> Карнап Р. Философские основания физики. М., 1971.
- <sup>2</sup> К сожалению, вопросу о природе научного описания в сочинениях философов науки уделялось, кажется, недостаточное внимание. Логические позитивисты говорили о феноменологическом и «вещном» языке, о протокольных предложениях. Но можно ли рассматривать протокольные предложения как «описания»? Какие термины могут входить в описания? Что такое «термины наблюдения» и что такое «наблюдаемость»? Говорят, что описания относятся к фактам, но что такое факт? Вообще говоря, здесь много неясных вопросов, но поиск ответов на них в данном случае не входит в нашу задачу.
- <sup>3</sup> Ньютон И. Оптика. М., 1954. С. 59.
- <sup>4</sup> Семенов Н.Н. Таким образом, я пришел к идее. – Краткий миг торжества. М., 1989. С. 9–10.
- <sup>5</sup> Полное собрание русских летописей. Т. 4, ч. 1, вып. 1. С. 311–312; Т. 6. С. 90.
- <sup>6</sup> Там же. Т. 4, ч. 1, вып. 1. С. 314; Т. 6. С. 92.
- <sup>7</sup> Горский А.А. Москва – Орда. М., 2003. С. 96–97.
- <sup>8</sup> Ниже мы будем говорить об истории, но в той мере, в которой другие социальные дисциплины описывают поведение людей, сказанное кажется справедливым и для них.
- <sup>9</sup> Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.). М., 2001. С. 5–6.
- <sup>10</sup> Я не хочу здесь останавливаться на том, что И.Н.Данилевский как будто считает, что происходящее в головах людей – это не то, что происходит «на самом деле». Если довести его мысль до конца, то получится, что представители естественных наук описывают то, что происходит «на самом деле», а историки, социологи и т. д. изобретают фантазии. Историк не может ограничиться описанием мыслей и чувств людей прошлого, он должен сказать, какие действия совершали люди под влиянием этих мыслей и чувств, т. е. должен описать также и то, как и где они «собрались», «уничтожали друг друга» и т. п.
- <sup>11</sup> Эпоха крестовых походов / Ред.: Э.Лависс, А.Рэмбо. Смоленск, 2002. С. 94.
- <sup>12</sup> Врит Г.Х. фон. Логико-философские исследования. М., 1985. Гл. 3.
- <sup>13</sup> Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. СПб., 1998. С. 542.
- <sup>14</sup> Горский А.А. Москва – Орда. С. 148.

*А.Л. Никифоров*

## **Смысл и значение исторического события**

На первый взгляд кажется понятным, о чем идет речь, однако стоит чуть-чуть задуматься, как сразу же возникают сомнения, ибо каждое слово из этого названия чрезвычайно неясно и расплывчато. Поэтому содержание статьи, по сути дела, сводится к уточнению содержания тех слов, из которых состоит название.

Проще всего обстоит дело со словом «исторический». В данном контексте оно будет истолковываться как «относящийся к истории», т. е. историческое событие – это событие, имевшее место в прошлом, оставившее после себя следы, сохранившиеся в настоящем, и попавшее в историографическое описание.

Гораздо сложнее сказать, что такое «событие». Вообще говоря, под «событием» понимают все что угодно: весна пришла – событие, землетрясение в Китае – тоже событие, «Зенит» выиграл кубок УЕФА – чрезвычайно важное событие, но и то, что Катя защитила диссертацию, – тоже событие. История – это наука о людях, об их жизни и деятельности. Поэтому природные «события» типа извержений вулканов, наводнений, затмений и т. п. мы можем оставить в стороне и учитывать их лишь в той мере, в которой они оказали влияние на жизнь и поведение людей. Это внеисторические, скорее, географические или геологические события. Под «историческим событием» мы будем понимать любое действие отдельного человека или группы людей, которое произошло в прошлом и оставило следы, позволяющие историку реконструировать это действие. Это, конечно, очень широкое понимание исторического

события, охватывающее практически всю жизнедеятельность людей. Однако любые попытки как-то сузить его, скажем, говорить только о «важных», «значительных» и т. п. событиях, всегда будут опираться на более или менее сомнительные предпосылки. Например, историки XVIII–XIX вв. считали важными событиями войны, революции, взаимоотношения между государствами и правительствами, повседневная жизнь людей их почти не интересовала. В XX в. история ремесел, изменения быта и моды стали считаться важными для истории. Поэтому лучше считать событием любое деяние человека или группы людей, оставившее после себя какие-либо следы в истории.

О смысле и значении именно таких событий мы и будем говорить в дальнейшем.

Но раз исторические события мы ограничили деятельностью людей, то и разговор о смысле событий естественно начать с обсуждения смысла деятельности и сначала несколько слов сказать о том, что такое деятельность.

В отечественной философской литературе можно найти немалое число работ, посвященных анализу понятия деятельности. Если взять самое общее представление о деятельности, разделяемое практически всеми авторами, то можно сказать, что под деятельностью обычно понимают целенаправленную или целесообразную активность человека. Иначе говоря, деятельность – это такая активность человека, которая направлена на достижение некоторой сознательно поставленной цели или побуждается некоторым более широким и расплывчатым мотивом, т. е. деятельность – это мотивированная активность. Конечно, не вся активность человека исчерпывается целенаправленными актами, мы часто совершаем произвольные, рефлекторные движения, скажем, похрапываем во сне или издаем вопли восторга и возмущения, наблюдая за спортивным состязанием. Такие действия не будут деятельностью.

Итак, деятельность может побуждаться сознательно поставленной целью или даже не вполне осознаваемым мотивом – желанием, страстью, страхом. Все то, что побуждает человека к активности, будем называть одним общим словом «интенция» (как это принято в зарубежной литературе по теории деятельности) и в дальнейшем будем считать, что всякая деятельность интенцио-

нальна – неинтенциональная активность человека не является деятельностью. Таким образом, всякая деятельность имеет две стороны: психическая, внутренняя, интенциональная и наблюдаемая внешняя физическая активность. Наблюдаемая физическая активность, лишённая интенции, не будет деятельностью. Но точно так же, по-видимому, не будет деятельностью и психическая активность, если она никак не проявляется внешним наблюдаемым образом. Впрочем, все вопросы, связанные с анализом деятельности, с рассмотрением взаимоотношений между интенцией и ее внешним проявлением, мы можем здесь оставить в стороне. Для дальнейшего нам достаточно зафиксировать одно: *деятельность есть интенциональная наблюдаемая активность человека.*

Когда мы говорим о смысле языковых выражений, представляющих собой с внешней стороны последовательность звуков или типографских значков, то имеем в виду под этим ту мысль – понятие или суждение, – которая связана с данным языковым выражением. С внешней наблюдаемой стороны деятельность также представляет собой последовательность актов физической активности человека. И как за воспринимаемой последовательностью звуков или пятен типографской краски мы усматриваем мысль, так и за воспринимаемой последовательностью действий естественно предполагать интенцию, которой они побуждаются и направляются. Здесь имеется очевидная аналогия между языком и деятельностью. Но есть и существенное отличие: язык специально предназначен для выражения мысли, но деятельность не предназначена для выражения своей интенции. Поэтому деятельность гораздо труднее понять, нежели язык.

Если смыслом языкового выражения является мысль, то *субъективным смыслом деятельности можно считать интенцию действующего субъекта.*

Для чего человек совершает какие-то действия? Для того чтобы достигнуть какой-то цели, осуществить некоторое желание, удовлетворить какую-то потребность. Вот эта интенция и придает в его глазах смысл его физической активности. То, что это именно так, подтверждается тем фактом, что когда вы спрашиваете человека о том, что он делает, то он почти всегда указывает на свою интенцию: «Готовлю обед», «Иду на работу», «Пишу статью» и т. д. Он практически никогда не описывает своих внешних наблюдае-



мых действий, скажем: «Я беру нож, приставляю его к луковице, нажимаю...», нет, он сразу указывает на общую интенцию, объединяющую все эти отдельные действия в единую деятельность. Да и вы, когда спрашиваете человека о том, что он делает, спрашиваете вовсе не о его физических действиях. Чего о них спрашивать – они наблюдаемы! Вас интересует именно ненаблюдаемая, психическая сторона этих действий, вас интересует интенция – тот смысл, который субъект придает этим действиям.

Все это кажется простым и ясным, но, к счастью, дальше начинаются сложности. Наша деятельность, т. е. интенциональная физическая активность, направлена на достижение некоторой цели. И когда мы достигаем этой цели, то считаем, что получили нужный нам результат. В достижении поставленной цели субъект часто склонен видеть единственный результат своей деятельности. Верно, конечно, что только этот результат интересует действующего субъекта. Это то единственное следствие его физической активности, получить которое стремится субъект. Однако всякая деятельность порождает множество других следствий, каждое из которых также может рассматриваться как ее результат. Например, вы хотите вырастить на своем дачном участке кабачки. Вот ваша цель, ваша интенция, побуждающая вас к активности. Вы вскапываете грядку, поливаете землю жидким навозом, высаживаете ростки, накрывая их стеклянной банкой от возможных заморозков, периодически поливаете свою грядку, боретесь с кротами и медведками и, наконец, получаете вожделенные кабачки. Цель достигнута, результат получен! Однако в процессе движения к своей ослепительной цели вы уничтожили несколько кротов и медведок, вы истребили или затоптали росшие рядом одуванчики, навозный запах вашей грядки все лето раздражал вашу соседку и т. п. Все это тоже следствия, результаты вашей деятельности, и посторонний наблюдатель может приписать вам интенцию получить любой из них. В частности, соседка вполне может думать, что вы затеяли возню с кабачками просто для того, чтобы позлить ее.

Выше мы уже говорили о том, что, если язык предназначен для выражения мысли, деятельность вовсе не предназначена для выражения своей интенции. Нет жесткой связи между интенцией и наблюдаемыми действиями. Один и тот же ряд наблюдаемых физических действий может побуждаться и сопровождаться раз-

ными интенциями, скажем, вы можете мчаться на автомобиле как с целью догнать уехавшего вперед приятеля, так и с целью удрать от инспектора ГАИ. Поэтому сторонний наблюдатель может приписать вашей активности любой из ее результатов. Напрасно вы будете доказывать вашей соседке, что думали только о кабачках! Она вам не поверит и останется в убеждении, что вы стремились причинить ей неудобства. Медведки и кроты вправе будут думать, что вся ваша деятельность преследовала одну цель – охоту на них. И действительно, любое из следствий вашей деятельности *могло быть* вашей субъективной целью! Кто вас знает, может быть, вы действительно хотели досадить соседке?

Эти рассуждения должны оправдать следующее определение: *объективным смыслом деятельности является совокупность всех ее следствий.*

Словосочетание «объективный смысл» может показаться несколько странным, даже внутренне противоречивым. Ведь под «смыслом» мы привыкли понимать мысль, мотив, интенцию, некий мысленный или чувственный образ, т. е. нечто внутреннее, психическое, субъективное. Как же можно говорить об «объективном» смысле? Но здесь нет онтологизации психических явлений и нет противоречия. Действительно, для самого действующего субъекта смыслом его деятельности является только его субъективный мотив, его собственная интенция. Однако внешний наблюдатель видит только его физическую активность и разнообразные следствия этой активности. Действующего субъекта интересует только одно из следствий его деятельности – то, что он готов считать ее результатом и к чему он стремится. Но внешний наблюдатель не знает, какое именно следствие деятельности важно для деятеля, и вправе приписать ему в качестве цели любое из этих следствий. Похожее случается и с языковыми выражениями, когда они двусмысленны и допускают различные толкования. Скажем, читаю я рекламу: «Прекрасные товары для детей из Германии!». – Какую мысль хотели выразить ее авторы? Товары из Германии для наших детей или прекрасные товары для немецких детей? Смыслом этой фразы может быть и то, и другое. В языке есть знаки препинания, помогающие уточнить, какую именно мысль имеет в виду автор, как в школьном примере утверждения «Казнить нельзя помиловать». Но в деятельности запятых нет. Поэтому всю совокупность

следствий деятельности, каждое из которых могло быть целью деятеля, можно рассматривать как ее объективный смысл. Конечно, действующий индивид никогда не способен осознать и учесть всех следствий своей деятельности, но поскольку любое из них могло быть его целью, всю их совокупность и можно считать объективным смыслом деятельности.

Может быть, говоря об объективных следствиях деятельности, лучше использовать термин «значение». По-видимому, он более употребителен в исторических сочинениях. Историки склонны говорить не о смысле, а скорее о значении исторических событий. Здесь мы также можем опереться на аналогию с языковыми выражениями. При логическом анализе языковых выражений принято расщеплять их значение на две стороны: мысленное содержание – смысл и предметную соотнесенность – предметное значение. Так, смыслом слова «дерево» будет мысль о том, что это – высшее растение, имеющее ствол, корни и крону, а значением – совокупность всех деревьев, растущих на земле. Возможно, эту терминологию можно использовать и при анализе деятельности. *Смысл деятельности – субъективная интенция деятеля, значение деятельности – совокупность всех ее следствий*<sup>1</sup>.

Но вот здесь нас подстерегает гораздо более серьезная проблема, неразрешимость которой как раз и указывает на принципиальную разницу между естественнонаучным и социо-гуманитарным познанием, в частности историей.

Следствия деятельности можно разделить на две группы – физические и социальные. Физическая активность субъекта выступает как причина многочисленных причинно-следственных цепочек, разворачивающихся согласно законам природы. Вы повернули выключатель – замкнулась электрическая цепь – по цепи стал проходить электрический ток – волосок лампочки раскалился – зажегся свет. Вы полили свою грядку – влага достигла корней – растения стали впитывать воду и т. д.; вы наступили на бабочку – она уже больше не опылит каких-то цветов, не оставит потомства. Появление такого рода следствий обусловлено действием объективных законов природы, и как только вы выступили в качестве причины, эти следствия появляются как бы автоматически. Поэтому в области естествознания – там, где речь идет о природных процессах, протекающих в соответствии с известными законами, мы можем

предвидеть следствия нашей деятельности с той точностью и полнотой, которую допускают наши научные теории. Это позволяет с определенной степенью точности очертить объективное физическое значение нашей деятельности.

Совершенно иное дело – социальные следствия. Наши действия оказывают влияние не только на окружающую нас природную среду, они способны повлиять и на поведение наблюдающих за нами людей. Человек ведь взаимодействует с природой не один на один, а в окружении других людей. Скажем, в ответ на ваши манипуляции с выращиванием кабачков ваша соседка высадит вдоль забора какие-то кусты, чтобы не видеть ваших хождений вокруг грядки. Она не хотела сажать этих кустов, это ваши действия вынудили ее к этому. Поэтому ее действия можно считать следствием вашей деятельности. *Социальные следствия – это действия других людей, стимулированные, вызванные, обусловленные вашей деятельностью.* Ваша деятельность – причина, действия других людей, осуществленные под влиянием вашей деятельности, – ее следствия. На самом деле здесь нет ничего необычного, в повседневной жизни наши действия очень часто направлены на то, чтобы побудить к каким-то действиям других людей. Я задаю вопрос – вы отвечаете, мой вопрос вызвал ваш ответ. Я обращаюсь к вам с просьбой, приказом, советом – вы в ответ что-то делаете. Но даже если я специально не побуждаю вас что-то делать, мои действия способны вызвать у вас какую-то реакцию.

Однако здесь есть принципиальная разница по сравнению с природными следствиями деятельности. Социальная причинность (если о ней вообще можно говорить) лишена той однозначности, того автоматизма, который характерен для физической причинности, ибо между вашим действием и действием другого человека, которое можно рассматривать как следствие первого, лежит процесс понимания, оценки и принятия решения. Человек смотрит на ваши действия со стороны: как он их истолковывает? Какую интенцию он вам приписывает? Как он оценивает ваши действия? Какие именно действия он сочтет нужным предпринять в ответ? Это уже зависит не от вас, а от самого наблюдателя – от его индивидуальных особенностей. Моя соседка в ответ на мои действия посадила кусты. А могла бы отгородиться глухим забором или во-

обще продать свою дачу, чтобы поберечь свои нервы. Даже когда вы высказываете просьбу или приказ, предполагающие совершение определенных ответных действий, человек далеко не всегда совершает именно их.

Социальные следствия входят в объективное значение деятельности: вполне возможно, целью вашей деятельности и было намерение побудить других людей к тем или иным действиям. Однако, как мы видели, совокупность этих социальных следствий чрезвычайно неопределенна. Она неопределенна потому, что мы никогда с уверенностью не можем сказать, к каким именно поступкам приведет наша деятельность других людей, и никогда с уверенностью не знаем, было ли действие другого человека следствием нашего действия или оно было вызвано чем-то другим. Посадила ли моя соседка кусты вдоль забора в ответ на мои действия или она сама давно хотела это сделать? Вот поэтому-то включение социальных следствий в объективное значение деятельности делает это понятие чрезвычайно расплывчатым.

Более того, когда мы говорим, что действие одного человека было причиной действия другого человека, это, вообще говоря, неверно. Удар кия по бильярдному шару является причиной того, что шар покатился и попал в лузу. Но мое действие не является причиной действия другого человека, даже если в каком-то смысле это действие было реакцией на мое действие. Непосредственной причиной действия другого человека была его собственная интенция (если интенцию вообще можно считать причиной физического действия). Эта интенция появилась у него в результате наблюдения за моим действием, пониманием этого действия и его оценкой. Таким образом, между причиной (моим действием) и социальным следствием (действием другого человека) лежит наблюдение, понимание, оценка и интенция. Поэтому понятие социального следствия не должно вводить в заблуждение: это вовсе не «следствие» в смысле простой причинно-следственной связи. Возможно, здесь нужен иной термин, но я не знаю, какой именно.

Рассматривая историческое событие как действие отдельно человека или совокупность действий группы людей, мы теперь легко можем сказать, что это такое – смысл и значение исторического события.

*Смысл исторического события – это те интенции, намерения, желания, те цели, которыми руководствовались участники этого события.*

*Значение исторического события – совокупность его природных и социальных следствий.*

15 июня 1215 г. на одном из островов Темзы король Англии Иоанн Безземельный под давлением баронов подписал документ, вошедший в историю под названием «Великая хартия вольностей». Эта «Хартия» устанавливала «строгие нормы в области феодального наследования, опеки и брака, приобретения недвижимых имуществ, наследственного права и системы замещения церковных должностей; она упорядочила судебную организацию, передав гражданские дела постоянной секции королевского суда и установив трехмесячные судебные сессии... Она оградила личную свободу, постановив, что никто не может быть арестован, задержан, подвергнут личной или имущественной каре иначе, как на основании закона и по приговору своих «пэров». Она обеспечила купцам право свободной торговли, установила однообразные меры в королевстве, утвердила торговые привилегии городов, местечек и портов вообще, и Лондона в частности»<sup>2</sup>. – Какими мыслями и чувствами руководствовались люди, принимавшие участие в этом событии?

Историк скажет, что король Иоанн подписывал этот документ только под угрозой вооруженной силы баронов и рассматривал подписание лишь как тактическую хитрость. В подтверждение такого понимания интенций Иоанна историк сошлется на то, что уже 25 августа, т. е. через два месяца, король отменил эту хартию и вступил в вооруженную борьбу с баронами.

Бароны хлопотали об ослаблении королевской власти и об обеспечении своих собственных прав. В частности, в их требованиях важное место отводилось вопросу о правах вдов и малолетних наследников: король не должен был отчуждать их имущество или использовать его в своих собственных целях, даже если их интересы не могли защитить взрослые родственники-мужчины.

Представители церкви заботились о сохранности и неприкосновенности церковных земель и доходов и включили в «Хартию» статьи, касающиеся церковных имуществ и свободы церкви от

власти короля. Получая доходы со всех слоев населения, они включили в документ статьи, обеспечивающие не только права баронов, но и простых рыцарей, горожан, купцов.

Таким образом, субъективный смысл этого события – те стремления и цели, которые преследовали его участники, – был простым и эгоистичным: все те люди, которые создавали и подписывали документ, так или иначе заботились о своих собственных интересах. Каково же было объективное значение этого события, т. е. к каким социальным следствиям оно привело?

Историки отмечают, что почти весь XIII в. в Англии прошел под знаком борьбы за «Великую хартию вольностей». Ее изменяли в 1216 и в 1217 гг., только в 1225 г. она обрела тот вид, в котором дошла до нашего времени. Если ранее короли Англии правили, опираясь на более или менее неопределенные обычаи, то теперь права подданных получили закрепление в точно фиксированных законах. Впервые в истории Европы закон был поставлен выше королевской воли. И хотя в дальнейшем английские короли часто нарушали статьи «Хартии», порой совершенно пренебрегали ей, во всех слоях населения всегда сохранялась память о ее основной идее: закон выше власти короля. Считается, что английская «Хартия вольностей» послужила образцом для последующего ограничения королевской власти в странах Европы, следы ее влияния можно найти в «Декларации независимости США» (1776 г.), в «Декларации прав человека и гражданина», принятой Учредительным собранием Франции в 1789 г., в конституциях многих государств Европы. В каком-то смысле можно сказать, что объективное значение «Великой хартии вольностей» не исчерпано до сих пор.

Этот пример отчетливо показывает разницу между субъективным смыслом и объективным значением исторического события. Он иллюстрирует, в сущности, тривиальную мысль: наши намерения и цели очень далеко расходятся с результатами нашей деятельности.

До сих пор о значении исторического события мы рассуждали абстрактно и поэтому слишком упрощенно. Мы назвали значением события совокупность его социальных следствий, отметили неопределенность понятия «социальное следствие» и связали с этим неопределенность объективного значения. Однако до сих пор мы рассуждали так, как если бы социальные следствия рассматриваемого нами события были уже даны и задача заключалась лишь в

том, чтобы обнаружить и зафиксировать их. Если в июне температура в Подмоскowie ночью упала до минус 2–3-х градусов, то все естественные следствия этого события произошли: где-то замерзла вода, погибли какие-то растения и т. п. Ученый-биолог лишь должен установить, какие именно растения погибли, какие – только повреждены и т. д. Но с историческими событиями и их социальными следствиями дело обстоит совсем не так просто. Конечно, когда историки более или менее единодушны в своих оценках, как в случае с «Великой хартией вольностей», то возникает иллюзия, будто они лишь фиксируют объективно данные следствия. Но когда между ними возникают разногласия по поводу того, считать ли некоторое событие социальным следствием другого события, мы начинаем понимать, что причинно-следственные связи в истории отнюдь не столь очевидны, как в природе. Вспомним наш простой пример: является ли возведение глухого забора моей соседкой следствием моей возни с кабачками или ее деятельность направлялась иными мотивами, никак не связанными со мной? Часто у нас нет никаких объективных данных для ответа на этот вопрос. Даже собственное утверждение соседки о мотивах ее действий не может служить в качестве такого данного: она может просто лгать, как лгут многие мемуаристы, приписывающие своим действиям благородные мотивы.

Сформулируем проблему более отчетливо. При рассмотрении и описании некоторого исторического события историк должен решить три задачи: 1) описать само событие; 2) установить тот субъективный смысл, который придавали ему участники, т. е. выявить их цели и намерения; 3) установить объективное значение этого события, т. е. установить оценку этого события в глазах современников и выявить его социальные следствия, проявившиеся во времени. Решение второй и третьей задач сталкивается с объективными трудностями, которые разные историки преодолевают разными способами, создавая разные картины прошлого.

Для иллюстрации рассмотрим еще один, уже не столь далекий пример из истории.

**В начале второго часа ночи 30 сентября 1938 г. в Мюнхене главы четырех великих держав: Гитлер (Германия), Чемберлен (Англия), Муссолини (Италия) и Даладьё (Франция) – именно в таком порядке – поставили свои подписи под Мюнхенским соглашением.**



ем, которое разрешало Германии оккупировать Судетскую область Чехословакии и обязывало чехов передать немцам свои оборонительные сооружения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия в целости и сохранности. Представители Чехословакии не были допущены на заседание и ожидали решения судьбы своей страны в соседней комнате. В 7 часов утра к ним зашел один из английских чиновников, сопроводивших Чемберлена, и ознакомил их с условиями договора<sup>3</sup>.

Относительно субъективных мотивов государственных деятелей, подписавших соглашение, у историков нет больших расхождений. Имеющиеся документы дают хорошее основание для достоверных суждений. Гитлер осуществлял свой план уничтожения и поглощения Чехословакии – план, который был частью более широкого замысла завоевания всей Европы. Муссолини поддерживал старшего партнера. Чемберлен проводил политику «умиротворения» агрессора, мечтая натравить Германию на Советский Союз, который он рассматривал как главного врага демократии и порядка в Европе. Даладь руководствовался примерно такими же мотивами, к тому же он покорно следовал в фарватере английской политики.

Какой смысл усматривали в этом событии его современники?

**В Германии престиж фюрера взлетел до небес. В течение четырех с небольшим лет Гитлер превратил безоружную, бессильную Германию в сильнейшее государство Европы, увеличил население Третьего рейха на 10 миллионов человек, завоевал Австрию и Судетскую область, не пролив ни капли немецкой крови. Если до этого и существовала оппозиция фашизму в Германии, после Мюнхена она была полностью обессилена.**

Французский премьер Даладь возвращался в Париж в угрюмом и пристыженном настроении, предполагая, что встречающая толпа забросает его тухлыми яйцами. Однако он был встречен криками восторга и облегчения: «Войны не будет!». Кто-то слышал, как Даладь пробормотал: «Что за ослы!». 4 октября палата депутатов 535 голосами против 75 одобрила Мюнхен. «Против» проголосовал один депутат от правых, один – от социалистов и 73 коммуниста. «Французы, нет места для отчаяния, – вещала правая пресса, – поражение потерпели только московские вояки. Коммунизм – это война, а война означает коммунизм»<sup>3</sup>.

Но, конечно, наибольшее ликование было в Англии. «Размахивая заявлением, которое он подписал совместно с Гитлером, ликующий премьер-министр приветствовал толпу, запрудившую Даунинг-стрит. Выслушав возгласы “Да здравствует старый добрый Невилл!” и песню “Потому что он веселый парень”, Чемберлен, улыбаясь, произнес несколько слов из окна второго этажа дома номер десять: “Друзья мои! Во второй раз в нашей истории сюда, на Даунинг-стрит, из Германии прибывает почетный мир. Я верю, что мы будем жить в мире”. “Таймс” заявила, что “ни один завоеватель, возвратившийся с победой с поля битвы, не был увенчан такими лаврами”. Спонтанно возникло движение за основание “Национального фонда благодарения” в честь Чемберлена, но он великодушно отклонил это предложение»<sup>5</sup>. Английская палата общин 366 голосами против 144 поддержала политику правительства. На заседании палаты лишь один человек, Уинстон Черчилль, дал Мюнхену совершенно иную оценку: «Мы потерпели полное и сокрушительное поражение, – говорил он. – Мы находимся в центре грандиозной катастрофы. Путь вниз по Дунаю... дорога к Черному морю открыты... Все государства Центральной Европы и бассейна Дуная одно за другим будут попадать в орбиту широкой системы нацистской политики... которая диктуется из Берлина... И не надо думать, что этим все кончится. Это только начало»<sup>6</sup>.

В Праге, естественно, царили растерянность и отчаяние, государственные деятели говорили о «предательстве» Чехословакии западными демократиями. Руководители Советского Союза расценили Мюнхен как явный отказ западных демократий от создания системы коллективной безопасности, над чем в течение нескольких лет трудился нарком иностранных дел СССР М.М.Литвинов. Советский посол в Англии И.М.Майский 2 октября писал в Наркоминдел: «Лига Наций и коллективная безопасность мертвы. В международных отношениях наступает эпоха жесточайшего разгула грубой силы и политики бронированного кулака»<sup>7</sup>. Подозрения насчет того, что Англия и Франция могут сговориться с Германией о совместном выступлении против СССР, резко возросли. Мюнхен открыл дорогу войне – так расценивали Мюнхенское соглашение государственные деятели СССР. Вместе с Черчиллем эту оценку разделяли в то время лишь очень немногие политики в Европе.

Каковы же были следствия Мюнхенского соглашения, каково было его объективное значение? Некоторые следствия были совершенно очевидными. Благодаря Мюнхену Польша захватила у Чехословакии Тешинскую область площадью 650 квадратных миль с населением 228 тысяч человек, из которых 133 тысячи были чехами. Венгрия оторвала кусок пожирнее – 7500 квадратных миль с населением 500 тысяч венгров и 272 тысячи словаков. Президент Чехословакии Бенеш был вынужден подать в отставку и эмигрировал в Англию. Многие историки согласны также с тем, что полная оккупация Чехословакии в марте 1939 г. немецкими войсками и уничтожение Чехословацкого государства были несколько более отдаленными следствиями Мюнхенского соглашения. Но дальше начинаются расхождения.

Можно ли считать оккупацию немцами Клайпеды (Мемеля) в марте 1939 г. следствием Мюнхена? Можно ли считать следствием Мюнхена так называемую «неделю битых стекол», начавшуюся в Германии 10 ноября 1938 г.? Властями Германии был организован неслыханный еврейский погром, в результате которого евреи были лишены собственности, полностью изгнаны из германской экономики, десятки тысяч из них были лишены крова, сотни и тысячи были просто убиты. Благодаря Мюнхену фашистские главарь убедились в том, что с политиками Англии и Франции можно не считаться, что это «червяки», как аттестовал их Гитлер, и поэтому позволять себе делать все, что угодно. Благодаря захвату Судетской области, а затем и всей Чехословакии Германия окружила со всех сторон Польшу и получила выгодные стратегические позиции для ее разгрома. Поэтому нападение на Польшу в сентябре 1939 г. и начало Второй мировой войны многие историки также склонны рассматривать как отдаленное следствие Мюнхенского соглашения. Таким образом, учитывая разнообразные следствия Мюнхенского соглашения, можно считать его тем поворотным пунктом в истории Европы, который всего лишь через год привел к возникновению мировой войны. Объективное значение Мюнхена состояло в том, что он подтолкнул Европу ко Второй мировой войне.

Конечно, далеко не все историки с этим согласны. «После распада Советского Союза в 1991 г. даже русские повернулись против себя, своей истории, достижений советского периода. А еще история – запутанное дело, полное расхождений и сложностей.

Ясность и правда не всегда то, что предстает на первый взгляд. История тоже политизирована. В постсоветской России стало популярным очернять Советский Союз, потому что это представляет интересы “либеральных” лидеров Российского правительства<sup>8</sup>. – В сущности, американский историк все сказал: история таких событий, как Мюнхен, политизирована, каждый историк представляет ее с позиций определенных политических и идеологических интересов, поэтому каждый историк по своему произволу придает то или иное значение Мюнхенскому соглашению.

Здесь можно указать на два методологических приема, используемых историками при описании Мюнхенского соглашения. Во-первых, обрывать рассмотрение его следствий мартом 1939 г., когда Германия оккупировала всю Чехословакию. Во многих работах можно прочесть о том, что в марте закончилась эра Мюнхена. Поэтому недаром многие работы о подготовке и начале Второй мировой войны ограничиваются рассмотрением событий 1939 г., а здесь внимание акцентируется на подписании 24 августа Пакта о ненападении между СССР и Германией (так называемый «Пакт Риббентропа – Молотова»), который, как утверждают, и дал возможность Гитлеру разгромить Польшу и начать мировую войну. Недаром многие книги о начале войны уже в названии отгалкиваются от 1939 г.: книга Карлея носит название «1939...»; В.В.Марьина. Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время Второй мировой войны. Книга 1. 1939–1941 (М., 2007); Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 (М., 1999); СССР, Восточная Европа и Вторая мировая война. 1939–1941 (М., 2007) и т. п. У американского историка события 1939 г. предстают как в значительной мере следствия событий предшествующих лет, в частности Мюнхена. Для него 1939 год – это итог предшествующей политики «умиротворения» и антикоммунизма. У некоторых отечественных авторов о предшествующих 1939 г. событиях говорится мимоходом и бегло, главным становится советско-германский Пакт о ненападении. Следствия важных исторических событий обычно проявляются в течение многих лет. Произвольно обрезая цепочки причинно-следственных связей и отказываясь от рассмотрения отдаленных причин описываемых им событий, историк неизбежно создает искаженную картину исторического процесса.

И второе, на что важно обратить внимание. Деградация современной отечественной истории в значительной мере обусловлена, как мне представляется, ее чрезмерной политизированностью. Современные историки очень часто обвиняют советскую историографию в искажении истории в угоду партийной идеологии. Но даже в советский период не было такой не только идеологизации, но прямой политизации истории. Сплошь и рядом в исторических сочинениях встречаются слова: «тоталитаризм», «сталинизм», «сталинская политика» и т. п. Но ведь это все термины политического словаря, а вовсе не термины науки истории! Использование таких словечек сразу же выдает откровенную политическую ангажированность авторов. Сталин – коварный безжалостный деспот, изменял по своему желанию внутреннюю и внешнюю политику Советского государства, стремился к распространению коммунизма по всей Европе и территориальным захватам. Он всегда питал симпатию к Гитлеру, поэтому торпедировал все попытки западных держав наладить добрососедские отношения и охотно договорился с ним о разделении Европы на сферы влияния. Зачем говорить о ремилитаризации Рейнской области, об аншлюсе Австрии, об уничтожении Чехословакии и т. п.? Все сводится к сговору двух тоталитарных хищников – Гитлера и Сталина. При такой идеологической установке история Европы приобретает весьма странный вид, не говоря уже о том, что сводить историю множества государств и народов к взаимоотношениям двух личностей, которые якобы определяли эту историю, значит откатываться на позицию хрониста XIII в., для которого история Англии сводилась к описаниям походов и подвигов какого-нибудь Ричарда Львиное сердце.

Смысл исторических событий, т. е. цели и намерения их участников, историк реконструирует, опираясь на сохранившиеся источники: официальные документы, мемуары, частную переписку и т. п. Это трудная задача. Хорошо, когда историк, приписывая какие-то интенции своему герою, может сослаться на надежные и недвусмысленные документы. Ну, например, Карлей утверждает, что Чемберлен не хотел заключать в июле 1939 г. пакт о взаимопомощи между Англией, Францией и СССР. В подтверждение того, что у Чемберлена действительно была такая интенция, он цитирует его письмо к сестре: «...сам я настроен настолько скептически относительно ценности русской помощи, что абсолютно

не считаю, что наше положение сильно ухудшится, если нам придется обойтись без них»<sup>9</sup>. Однако часто историк не имеет надежных свидетельств того, что тот или иной деятель имел какие-то определенные намерения или цели. В таких случаях лучше всего вообще не говорить об интенциях деятелей. Однако часто историки поступают в таких случаях подобно романистам: составив себе общее представление о характере и взглядах своего героя, они смело приписывают ему мотивы, которыми он *мог бы* руководствоваться в конкретном случае с *их точки зрения*. Множество примеров подобного рода можно найти в сочинениях, затрагивающих деятельность таких людей, как И.В.Сталин. Руководствуясь представлением о Сталине как о кровожадном, коварном тиране, который всегда и везде преследовал лишь цель укрепления своей власти, историк приписывает ему этот мотив при самых разнообразных обстоятельствах. На это, в частности, обращает внимание израильский историк Габриэль Городецкий: «За отсутствием нужных данных Суворов и другие используют ложный исторический метод, который приводит к сомнительным предположениям. Полагая (и это соответствовало действительности), что Сталин был дьяволом, они сделали вывод, что коварный человек всегда проводит вероломную внешнюю политику, не соответствующую истинным национальным интересам России»<sup>10</sup>. Это, конечно, худший вид историографии.

Еще сложнее обстоит дело с установлением значения исторических событий. Теперь мы можем сформулировать более или менее объективный критерий важности исторического события: *событие тем более важно, чем больше следствий оно порождает и чем более долговременны эти следствия*. Событие может привлечь внимание или как-то затронуть огромное множество людей. Оно будет более важным для историка, нежели событие, повлиявшее на небольшой круг людей. Событие, оказавшее лишь кратковременное влияние на жизнь людей, будет менее важным, нежели событие, следствия которого продолжали появляться спустя много лет после его свершения.

Здесь интересно обратить внимание на то, что значение многих событий не может быть понято современниками. Какое значение придавали современники подписанию Великой хартии вольностей! Если значение события выявляется лишь со временем, то

только историк может оценить это значение. Только историк может сказать, что подписание Хартии вольностей было важным историческим событием. Бывает так, что современники приписывают некоторому событию чрезвычайно важное значение, а со временем выясняется, что оно таковым не обладало. Вспомните, как встречали в Лондоне Чемберлена после Мюнхена! Англичанам казалось, что подписание Мюнхенского соглашения даст им мирную жизнь в течение ближайших десятилетий. Но уже через полгода стало ясно, что этим надеждам не суждено сбыться.

Однако еще раз следует повторить, что установление значения исторического события зависит в значительной мере от историков: именно они, руководствуясь своими идеологическими пристрастиями, обрывают или продлевают причинно-следственные цепочки, порождаемые историческим событием, расширяют или уменьшают сферу его влияния.

Например, войну против СССР, которую вела Финляндия с июня 1941 г. вместе с фашистской Германией, в Финляндии сначала называли «летней войной», поскольку за войной с СССР в 1939–1940 гг. закрепилось название «зимней войны». Когда, однако, наступил октябрь, затем ноябрь, название «летняя война» утратило смысл. Тогда ее стали называть «войной-продолжением», стремясь внушить населению мысль о том, что агрессия против СССР вместе с фашистской Германией – это просто продолжение справедливой оборонительной войны 1940 г. Тем самым правящие круги Финляндии стремились представить свою агрессивную войну в союзе с Германией как справедливую оборонительную войну<sup>11</sup>. И такое истолкование этой войны сохраняется в финской историографии до настоящего времени! Вот так историки создают искусственную причинно-следственную связь между событиями, которые реально никак не были связаны между собой<sup>12</sup>.

Таким образом, благодаря трудностям установления интенций участников исторического события и неопределенности его социальных следствий смысл и значение исторического события в значительной мере зависят от произвола историка.

## Примечания

- 1 Возможно, наша аналогия не столь поверхностна, как может показаться. Смысл термина задает его предметное значение, но существует ли это предметное значение и каково оно – открытый вопрос. Скажем, смысл термина «крылатый конь» задает некоторое предметное значение, но в нашем реальном физическом мире таких предметов не существует. Когда физики вводили понятия «кванта действия» или «нейтрино», они отнюдь не были уверены в том, что эти термины обладают предметным значением. Смысл термина «дерево» задает предметное значение, и оказывается, что в нашем мире это будет обширный класс очень разнообразных предметов. В интенции деятельности имеется цель, которая задает ее результат. Но достигим ли этот результат, каким он будет в реальности, сколько еще следствий породит деятельность – всего этого интенция не предусматривает. Иначе говоря, смысл деятельности лишь в очень небольшой мере говорит о ее значении.
- 2 Эпоха крестовых походов / Ред.: *Э.Лависса и А.Рамбо*. Смоленск, 2002. С. 444.
- 3 Поскольку Мюнхенское соглашение до сих пор является предметом споров и разнообразных интерпретаций, при его обсуждении я руководствуюсь работами двух американских историков: *Ширер У.* Взлет и падение Третьего рейха. М., 1991; *Карлей М.Дж.* 1939. Альянс, который не состоялся, и приближение Второй мировой войны. М., 2005. Американские историки имеют возможность относиться к Мюнхену более беспристрастно, чем историки Европы, тем более историки тех стран, главы которых участвовали в Мюнхенском соглашении.
- 4 *Карлей М.Дж.* Указ. соч. С. 113.
- 5 *Ширер У.* Указ. соч. С. 457.
- 6 Там же. С. 460.
- 7 *Карлей М.Дж.* С. 113.
- 8 Там же. С. 21.
- 9 Там же. С. 223.
- 10 *Городецкий Г.* Миф «Ледокола». Накануне войны. М., 1995. С. 49–50.
- 11 См., например: *Маннергейм К.Г.* Мемуары. М., 1999.
- 12 *Барышников Н.И.* Пять мифов в военной истории Финляндии. 1940–1944 гг. СПб., 2007.



**Предметно-проблемные поля социальной философии  
в социоэпистемологическом прочтении:  
от инореференции к самореференции\***

Можем ли сформулировать начала социальной философии<sup>1</sup>, без того чтобы обратиться к проблеме социального познания в целом? Включают ли структуры социальной теории эпистемологические положения и допущения? Должна ли социально-философская перспектива наблюдения общества как предмета социальной теории дополняться социоэпистемологическим наблюдениями и выводами, характеризующими и имеющее своим предметом саму теорию? На эти вопросы многие исследователи отвечали положительно. Мы попытаемся извлечь и реконструировать теоретико-познавательное содержание, которое ряд мыслителей – явно, но зачастую и в латентном виде – включали в свои версии теории общества, теории коммуникации.

В общем виде и предварительно можно указать на ряд подходов и уже утвердившихся дисциплин и ключевых проблем, неразрывно связанных и включенных в структуру социальной философии:

- социология знания (Д.Блур, П.Бергер, Т.Лукман);
- теория информации и коммуникации (Н.Луман);
- теории научения (Дж.К.Хоманс);
- проблемы значения и понимания (А.Щюц, Дж.Г.Мид);
- теория наблюдения (Э.Гидденс, Н.Луман);

---

\* Статья написана при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект № 11-03-00050 («Этнос и нация в глобализирующемся мире»).

- концептуализация социального времени, социального пространства, причинности (Э.Дюркгейм, Г.Зиммель, П.Бурдьё);
- теории рациональности (Дж.Коулман).

В некоторых из вышеозначенных подходов фиксировались (социальные, культурные и т. д.) факторы, которые не связаны напрямую с исследуемым той или иной теорией объектом, природой, а указывали на то, что любая научная дисциплина, не исключая и точных наук, все-таки остается всего лишь формой общения, коммуникации, специфической формой социальности.

Пионерской здесь стала работа Д.Блуря («Durkheim and Moss revisited»), воспроизводившая и развивающая один из центральных постулатов социологии знания Э.Дюркгейма и М.Мосса о том, что «классификация людей воспроизводит классификацию вещей», или, другими словами, классифицирующие активности человеческого сознания воспроизводят паттерны включения и исключения из социума<sup>2</sup>.

В этом смысле речь может вестись не только о предмете, об инореференции той или иной теории, но и о ее *самореференции*, т. е. о включении в предмет исследования самого процесса построения исследования. (Например, применительно к социологии, теории общества, можно утверждать, что и сама она – как научная коммуникация, как общение ученых – осуществляется в виде общества<sup>3</sup>.)

Мы будем исходить из заявленного выше различия между *инореференцией* социальной теории (т. е. обществом, или общением как ее главным предметом) и самореференцией (теорией социальной теории). Инореференция всегда выступает как некий *актуальный* предмет, ведь актуальные проблемы социальной теории очевидно связаны с ее предметом, т. е. обществом и *вызовами*, с которыми сталкивается современное общество.

В отношении этих вызовов у большинства социальных теоретиков (Н.Луман и Э.Гидденс – особенно примечательные примеры) не возникает разногласий. Поскольку каждый из них в той или иной форме описывает одну и ту же фундаментальную проблему современного общества. Назовем ее проблемой *переоформления границ коммуникации*. В частности, это означает следующее.

Во-первых, возникает мировое общество, *исчезают границы общения*. Политические, научные, хозяйственные, религиозные границы, а также границы интимности и искусства утрачивают связь с

*пространственными* (регионально-государственными) ограничениями. Запрос на контакт из любой точки земного шара может быть востребован (или отклонен, но в любом случае воспринят) в любой другой точке земного шара и проинтерпретирован именно с точки зрения принадлежности этого запроса к тому или иному типу дискурса или типу коммуникации. Связь запроса на контакт с территорией, регионом, этносообществом, хотя и учитывается в решении об акцептации или отклонении, но не является для этого решающей. Скажем, ни научная, ни религиозная коммуникация не определяются пространственно, но интерпретируются исключительно в контексте тех или иных научных теорий, их приложений, конфессиональной догматики.

Во-вторых, в рамках мирового общества *образуются новые границы*, т. е. обособленные способы коммуницирования, не нуждающиеся в выходе за свои собственные пределы: экономические транзакции *сами по себе* не нуждаются в национально-политическом регулировании. То же самое можно сказать и о научной коммуникации, не говоря уже об интимном общении. Всякое вмешательство со стороны чужого типа коммуникации теперь понимается как *коррупция*, т. е. как некая испорченная коммуникация. Речь идет о коррупции в самом широком смысле. Вмешательство хозяйства или религии в науку означает коррупцию «чистой» (т. е. ориентированной исключительно на собственный медиакод *истины*) науки и означает превращение научной коммуникации в общение, ориентированное на чуждые науки медиа общения – деньги и веру. Но столь же «коррумпирующими» будут попытки «объясняющего» вхождения науки в религиозный дискурс.

Третья актуальная проблема современной социальной теории связана с возникновением *новой системы общения* с собственными мотиваторами или коммуникативными медиа. К политике с ее коммуникативным медиумом<sup>4</sup> *власти*, к науке с ее коммуникативными медиумом *истины*, к хозяйству с его коммуникативным медиумом *денег*, к интимным коммуникациям с их медиумом *любви* добавляется – новый – *протестный тип общения* с не очень пока ясными символическими медиа. Сюда можно отнести и фундаментализм, и движение городских окраин, и движения футбольных болельщиков, и националистически ориентированные движения, и движения левого толка. Протест и конфликт как социальные функции, первоначально занимавшие, по всей видимости, подчинен-

ное положение в рамках иных коммуникативных систем (в виде партийной борьбы в политике, конкуренции в хозяйстве, научной полемики), в конечном счете и сами автономизируются и создают вокруг себя собственную коммуникативную систему, ориентированную на *протест* как таковой.

Впрочем, возможно, на роль такого коммуникативного ориентира протестного движения могут претендовать и *ценности*, как это имеет место, например, в фундаменталистских движениях. Так, медиум религиозной *веры*, очевидно, не функционирует в качестве такого мотиватора и обобщенного средства «фундаменталистского типа» коммуникации. Ведь в этом случае медиум служил бы скорее самоограничению религиозного общения на пути традиционной аскезы, монастырского уединения, невмешательства в светскую жизнь. Между тем протестно-фундаменталистский медиум общения защищает ряд *традиционных* ценностей, прежде всего традиционные половозрастные и гендерные дистинкции (с характерными для последних различиями в поведении полов, различиями во внешнем виде, разделением ролей, функций и труда), а также традиционные способы разрешения конфликтов.

Возможно, к этим новым медиа общения, организующим вокруг себя новую коммуникативную систему, будет относиться и ценность собственной нации, собственного этноса или этно-религиозной группы.

### **О роли негативных мотиваторов общения**

Появление новой системы протестного общения прежде всего свидетельствует о трансформации представлений о так называемой *аномии*. Возникают дискурсы и устойчивые практики общения, где ориентирующей стороной коммуникации становится *негативный* полюс некоторой базовой дистинкции. Так, в науке *ложное* знание, ошибка (как негативная сторона дистинкции *истина/ложь*) играют среди прочего и некоторую позитивную, рефлексивную и даже революционную роль, «пробуждая от догматического сна» и делая возможным проверку теории на предмет ее возможных фальсификаций. В свою очередь, и в медицинской практике именно *болезнь* (а не здоровье) представляет собой негативный полюс дистинкции *болезнь/здоровье* и в этом смысле оказывается спусковым механиз-

мом для запуска «медицинской коммуникации», становится ориентирующим для этого специфического типа общения. В целом можно сказать, что в современных обществах *аномия*, *конфликт* нормализуются, принимая вид *конкуренции* в хозяйстве, партийно-политической *борьбы*, научной *полемики*, спортивных состязаний и т. д.

Ситуация с протестным движением и его выделением в качестве самостоятельной и полноценной системы коммуникации может быть сопоставлена с появлением уже утвердившихся и автономизировавшихся практик коммуникации. Так, аналогичным образом в прошлом обстояло дело с медиумом искусства. Искусство играло подчиненную, орнаментальную, украшательную роль в религиозном, политическом, хозяйственном и иных типах коммуникации, но со временем выделилось в качестве самостоятельного – негативного – типа общения, специализирующегося на *неприятности* повседневного мира, создании собственных «прекрасных миров» и сосредоточенного вокруг некой негативной функции – отклонения актуального мира.

### **Проблема этнонациональных идентификаций как актуальная проблема социальной теории**

Итак, на первый план современной социальной теории выходят проблемы экспандирующей коммуникации и связанных с ней генерализированных медиа или ориентиров общения. Чрезвычайную актуальность в современном контексте приобретают – до конца не проясненные – феномены разного рода «этнических» или «национальных» определений и самоопределений, которые, на первый взгляд, должны были постепенно утрачивать в своем «мобилизационном потенциале» в условиях расширения коммуникативного пространства до планетарных масштабов, в особенности в контексте массовых миграций и роста межкультурных взаимодействий. Тем не менее мы видим, что именно такого рода «этнонациональные» самоидентификации занимают все больше места в современных политических и социально-теоретических дискуссиях, как, впрочем, и повседневном общении, и в массмедиа.

Эту связь расширения коммуникативного пространства (в особенности, массовых миграций) и проблему (и судьбу!) этноса и наций следует обозначить как особую актуальную проблему социальной теории.

Обращаясь к актуальности феномена этноса и нации как особых обобщенных медиа общения трудно не прийти к предположению о том, что понятие «этноса» (и «нации» в этническом, а не политическом смысле) в существенной части своего содержания оказывается аналитической *фикцией*. Ведь явление, которое должно быть описано при помощи этого понятия, в нормальном (т. е. неконфликтном) случае ускользает от эмпирической фиксации. Таковое положение дел можно охарактеризовать как скандал в этнологии. Если исходить из строгих критериев научности, то в отношении всякого феномена, не исключая и того, что принято обозначать этносами, нациями, национальностями, следует учитывать ряд ключевых требований или критериев научного описания. Однако практически в отношении каждого из таких критериев (в отношении проверяемости, непротиворечивости и т. д.) применительно к теориям этноса могут возникать противоречия и несообразности. Особую роль в реестре таких критериев такому (минимальному и одновременно фундаментальному) маркеру «научности» следует отводить критерию *наблюдаемости* исследуемых явлений.

Вышеозначенному требованию, на наш взгляд, отвечает только один (пусть и связанный семантически с понятием этноса) феномен. Речь идет о феномене *этнорелигиозной границы*, конкурирующей за собственную значимость и конфликтующей с границей государственной (=политической). Конфликт в этом смысле, очевидно, выступает некоторым «выделенным» объектом описаний и наблюдений и, безусловно, может служить маркером или *эффектом* некоторой скрытой реальности. Это хорошо согласуется с утвердившимся в социальных науках методологическим принципом, требующим судить о скрытых феноменах по тем «следам», которые они оставляют<sup>5</sup>.

В отличие от конфликта собственно *этнос* в его «мирном», «непроявленном» состоянии (и чаще всего характеризуемый в качестве «культурно-языковой идентичности»), как правило, допускает рассмотрение в виде манифестации некоторой более широкой идентичности и – как следствие – теряет собственную предметную специфичность. Скажем, карельская культура и язык всегда могут рассматриваться как манифестация финно-угорской, а русская культура и язык могут интерпретироваться как результат

исторического синтеза культур, как евроазиатская, индоевропейская и любая другая. В подобных спекуляциях нет недостатка, причем именно потому, что в данном случае не выполняется критерий наблюдаемости, т. е. однозначной *пространственно-временной* локализации феномена.

Критерии идентификации этнических групп, проблемы определенности исторического времени и пространства, своего рода средств *измерения* этноса, – все это, оказывается, напрямую связано со спецификой самих – осуществляющих наблюдения над этническими группами и собственно конструирующих этносы – дисциплин (прежде всего истории, этнологии, социологии). Ведь последние кардинальным образом отличаются от иных наук, от биологии и психологии, с их способностями легко фиксировать время «жизни» организма или «сознания». Так, в биологии и с некоторыми оговорками в психологии границы идентичности их объектов жестко определены возможностью смерти. Это и позволяет любому наблюдателю решить, жив или мертв объект его наблюдения. Но что же делать с этносом? Какие трансформации должны произойти, чтобы один этнос рассматривать как исчезнувший, а другой как нарождающийся? И трудности лишь возрастают, когда и самоистолкования представителей тех или иных этнических групп прямо противоречат друг другу<sup>6</sup>.

Гипотетический этнос как таковой, этнос-в-себе, который существовал бы вне своих периодически конфликтных манифестаций, не допускал бы никаких возможностей его пространственно-временной и личностно-коллективной фиксации. Было бы чрезвычайно сложно однозначно указать на его пространственные, временные характеристики и идентифицировать его с конкретным множеством индивидов. Мы не смогли бы задать условия истинности даже для простейших «протокольных предложений» типа – «данный этнос, появившийся в такое то время и прекративший свое существование в такое-то время, охватывает такое-то пространство и имеет в своем составе таких-то индивидов». Однако предложения наблюдения легко формулируются применительно к этнорелигиозным войнам и национально-освободительным движениям.

Все иные попытки концептуализации наций или этносов, а именно:

1. через культурные маркеры (традиция, этикет),
2. черты психологического склада,
3. языковые и религиозные спецификации,
4. отождествление с интересом доминирующего класса (скажем, национальной буржуазии, как это принято в марксизме),
5. визуально-фиксируемый (т. е. расово-специфический) облик,
6. поведенческие диспозиции, габитусы – изначально обременены эссенциализмом и должны отклоняться в эмпирическом исследовании, поскольку любое определение феномена этноса через такого рода дистинкции допускает произвольные включения и исключения в таким образом определяемые множества.

Представление об общности, принадлежность которой определяется языком, культурой, психологическими и визуально фиксируемыми особенностями, с неизбежностью допускает произвольные индивидуальные атрибуции. Более того, эта произвольность способна принимать и институциональные формы, например, в процессе переписи населения – национальность опциональна и не требует верификации. Индивид всегда может осуществлять *произвольные* самоидентификации – как русского, как афрорусского, как представителя мирового общества, как инопланетянина. Но то же самое касается и наблюдателей этносов – этнологов, антропологов и социологов. Приходится признавать, что в распоряжении исследователей нет никаких ресурсов, позволяющих осуществлять однозначные и бесспорные этноатрибуции. Этот факт можно было бы назвать скандалом в этнологии, что ставит под вопрос и сам дисциплинарный статус этой науки, поскольку ее собственный предмет не допускает четкой определенности. Ведь последним критерием рациональности в приписывании себе принадлежности к этнически или национально определяемой общности оказывается произвольное суждение наблюдателя.

Выход из создавшегося положения, возможно, кроется в признании того, что этноатрибуции выражают некую *суверенную рациональность* объяснения собственного поведения – наподобие рациональности *любви* или рациональности личного *интереса*. Ведь у национально-этнических самоидентификаций нет *каузальных* обоснований, нет объяснений того, *почему* приходится осуществлять именно данные этноатрибуции. А следовательно, невозможно выявить «правильные» (= рациональные) этноатрибуции.



Чрезвычайно трудно формулировать однозначно определенные утверждения вида: «Да, этот человек совершенно правильно идентифицировал себя как русского, а тот, другой, ошибается».

В то же время этот феномен суверенного характера рациональности приписывания себе этнонациональных характеристик, несводимость этноса его к научно-рациональным классификациям (типа классических таксономий по генотипам, фенотипам, функциям и структурам органов организма) не является какой-то выдающейся проблемой – герменевтически понимаемого<sup>7</sup> – социально-гуманитарного знания (в его интерпретации, например, Г.Гадамером или Й.Хабермасом). Очевидно, наличествует целое множество сфер, где редукция к научной (каузальной) рациональности невозможна. Так, и в рамках системы интимных отношений сам факт приписывания свойства и объясняет свойство. Собственно факт любви объясняет сам себя, не требуя глубинных каузальных обоснований того, «почему индивид испытывает любовное чувство». Индивид любит, *потому что* любит. То же самое касается и суверенной рациональности «личного интереса». Факт наличия интереса не может и не должен реконструироваться и объясняться *причинным* образом, а значит – и рационально. Объяснение получает *автологический* характер: индивид интересуется некоторой темой или предметом, потому что они ему интересны.

Суверенность интереса и суверенность любви, их независимость от каузальности, от научных редукций к неким глубинным основаниям рационального поведения, возможно, связаны с фундаментальным фактом – фактом обособления автономных систем коммуникации. Этот распространенный феномен получил название *самовалидации* тех или иных мотиваций. Аналогично медиа любви и интереса также и этнос представляет собой *символическое средство коммуникации*, поскольку служит мотиватором для обособившихся типов коммуницирования – коммуницирования в рамках национально-освободительных и религиозных движений<sup>8</sup>.

Описанный факт произвольности этноатрибуций объясняется наличием особых способов коммуникации, объединенных общим ориентиром и мотивацией. Этот ориентир или мотивацию можно назвать символическим медиумом коммуникации (Sym-bol, как известно, связывает то, что разделил Dia-bol). Таким медиумом коммуникации оказывается, например, *власть*, точнее говоря, перепад

между большей или меньшей властью, ориентирующий и мотивирующий принятие той или иной предложенной коммуникации в рамках политической системы и обеспечивающий трансляцию коллективно-обязательных решений. Аналогичным медиумом коммуникации являются *деньги*, служащие мотиватором экономических трансакций. Этнос как медиум коммуникации находится в том же самом таксономическом ряду.

Итак, единственный, с нашей точки зрения, выход из ситуации произвольности этнорелигиозных атрибуций и ненаблюдаемости (*в нормальном, т. е. неконфликтном, случае!*) этносов и наций, как уже заявлялось выше, следует искать в явлениях, допускающих эмпирическую фиксацию и согласующихся с наблюдениями. Такими исходными эмпирическими данным являются конфликты этнорелигиозных границ и границ политических, или феномен так называемых национально-освободительных движений. Этот феномен допускает ясное эмпирическое описание, может наблюдаться, измеряться и даже получать квазиестественнонаучную интерпретацию в виде некоторой «напряженности» национальных отношений (очевидно, формулирующей в виде аналога к «напряженности» электрического поля).

Приходится признавать, что с точки зрения возможностей наблюдения нация или этносы оказываются (пусть и безусловно полезными с точки зрения их антиципационной функции, т. е. функции предвосхищения возможных этноконфликтов) аналитическими фикциями, гипотетическим средством объяснения национально-освободительных движений. Они выступают некой предварительной гипотезой, напоминающей понятие теплохода. Давая объяснение случившимся событиям, эти понятия не справляются с *компаративистскими* вопросопостановками: наличие наций и этносов (данных в виде их культурно-языковых и расовых описаний как некий коллективный субъект, имеющий собственный интерес) не объясняет того, что в *одних* случаях таковой субъект осуществляет национально-освободительное движение, а в *других* случаях – нет.

Объяснение «*национальных движений*» через редукцию к гипотетическому этносу с гипотетическими интересами» является *эссенциалистским* объяснением наподобие объяснительных редукций к *природам* или *началам*. Национальное движение якобы

имеет место, т. к. в нем есть движущее начало – этносубъект, го-мункул с собственным сознанием, ищущий «собственное место» в аристотелевском смысле. Однако такого рода «объяснения», оче-видно, методологически неприемлемы для науки XXI в. Факт кон-куренции этнорелигиозных и политических границ требует *функ-ционального* объяснения.

Вернемся к вопросу об отношениях между различными ком-муникационными системами и соответствующим им медиа. Ре-лигиозная и политическая системы используют для себя допол-нительные мотивации посредством символического медиума *эт-нос*. Это означает, что этнорелигиозная идентификация выступает особой, *дополнительной техникой* системной идентификации, не имеющей *собственной* автономной функции. Государственная или политическая граница стремится определить себя как граница эт-нокультурно-религиозная, т. е. задействует фикцию этнической идентичности для укрепления собственной значимости. Посред-ством генерализирующего символа «Этнос» политическая систе-ма создает для себя дополнительную мотивацию к выполнению коллективно-обязательных решений. Приведем простой пример: в паспорте всех граждан ФРГ пишут «немец», безотносительно к расовым, культурным и прочим характеристикам.

В свою очередь, и религиозная система коммуникации задей-ствует для себя этот генерализирующий символ нации или этноса, чтобы компенсировать недостаточную мотивацию собственного символа, а именно – *веры* как медиума религиозной коммуни-кации (отсюда представления об избранном народе, о мессианской функции некоторых наций, православном народе и т. д.). Однако именно благодаря такой политически определенной установке на использование этнических идентификаций (скажем, в форме т. н. политического ислама), а также благодаря религиозному обраще-нию к этносу – носителю веры, возникает и *относительно* авто-номная мотивация, переживаемая в виде ощущения принадлежно-сти к этносу. Этнорелигиозная граница получает автономию как обособленная мотивация и стремится определить себя в качестве государственной, т. е. политической. При этом национально-осво-бодительное движение неустойчиво в этой форме и – не получая политического или религиозного «кодирования» и оформления – постепенно сходит «на нет». Этнорелигиозная система коммуни-

каций неустойчива, проблематична в силу отсутствия у ее символического средства – этноса – *укорененности в реальности* и в силу его чрезмерной абстрактности.

Этнос как символическое средство коммуникации не образует вокруг себя устойчивую и полностью автономную коммуникационную систему наподобие политики или хозяйства, но либо задействуется (в качестве дополнительной мотивации) системой религии (в форме апелляций к разного рода «богоизбранным» народам), либо используется системой политики (парадный пример – «немецкая нация»). Можно предположить, что данное обстоятельство объясняется отсутствием у этнической коммуникации ресурсов для удостоверения собственной значимости. Принадлежность к гипотетическому этносу произвольна, а сам этнос – слишком абстрактен. Именно поэтому он не может конкурировать за значимость для коммуникаций с такими символическими средствами коммуникации, как *власть*, *деньги* или *истина*, которые, правда, и в свою очередь сталкиваются с проблемой их абстрактности (инфляции их значений).

Однако абстрактность последних компенсируется и удостоверяется внутрисистемными коммуникативными процессами: соответственно «физикалистскими» процессами: *насилия* (политика), *восприятия* (наука), *потребления* (экономика), половых отношений (интимные коммуникации), которые выступают особого рода механизмами связи с естественной реальностью и одновременно эмпирическим базисом высокоабстрактных символических структур (власти, денег, истины, любви).

Способен ли этнос найти такое средство утверждения своей значимости и получить самостоятельное значение – неизвестно. Этноты, подобно кваркам, видимо, не живут сами по себе. Они или определяются *религиозно*, скажем, в виде исламского этноцентризма, или тотчас – в случае победы того или иного этнорелигиозного движения получают *государственное* облачение.

Впрочем, примерно так же обстояло дело с коммуникативной системой искусства, собственный медиум которой – *прекрасное* – выполнял служебную, украшательскую, орнаментальную функцию в рамках других коммуникативных систем, в особенности в рамках политики или религии. Но искусство получило «полную автономию», и ныне то или иное произведение искусства получает валидацию, исходя из собственных внутренних критериев.

Сможет ли этнос как обобщающий символ коммуникации создать устойчивую автономную систему коммуницирования, не имея в настоящий момент собственных механизмов самовалидации (таких, как насилие – для власти или потребление – для денег), остается проблематичным. Этнос «оживает» (и, следовательно, может стать предметом согласуемых наблюдений) исключительно в ходе конфликтов, в форме национально-освободительных движений. Сможет ли этот конфликт операционализироваться и получить функционально-плодотворную форму протекания в виде мирной конкуренции, наподобие того, как это произошло в политике, экономике, науке, – большой вопрос. Наша точка зрения, которую мы здесь не будем обосновывать, состоит в том, что этнос как символ коммуникации ожидает судьба системы религиозных коммуникаций. Вряд ли кто-то будет спорить, что механизмы самовалидации *веры* (а именно, чудеса и священные тексты) как ее ведущие мотивации оказались нежизнеспособным для ее успешного функционирования в виде конкурентоспособной социальной системы.

Впрочем, в распоряжении этнически окрашенной коммуникации не оказывается даже и этих вышеозначенных ненадежных средств удостоверения собственной значимости, а выступающие в качестве таковых средств утверждения о расово-определенной телесной похожести, общих психогабитуальных предпочтениях, языке и культуре представляются настолько вариативными, произвольными и конкурирующими друг с другом, что все новые и новые этнонациональные сегментации оказываются неизбежными.

### **Миграция как актуальная проблема современности – форма аномии, инновативных форм общения и денационализации**

Начнем с того, что мы не можем начинать с определения понятия «мигранта» и что такое «миграция». Сложности возникают на уровне прояснения понятия. Решение проблемы возможно только после прояснения данного понятия и соответствующих ему эмпирических феноменов, после решения философско-аналитической задачи связывания эксенсиала и интенсиала<sup>9</sup> понятия миграции.

Мы попытаемся разобраться с возможными формами иммиграции. На наш взгляд, является серьезной проблемой то, можно ли интегрировать в рамках одного понятия такие разноплановые феномены, как «великое переселение народов», движение отцов-пилигримов и основание плимутской колонии, средневековые мультиэтнические образования студентов, движения монашеских орденов, современную трудовую миграцию? Или это явления разного порядка. В этом я вижу проблему.

Другая, скорее терминологическая, проблема состоит в том, как соотносятся понятия *миграции* и *нации*. Не представляют ли они собой коррелятивные или комплементарные понятия, взаимно предполагающие друг друга.

Из всего многообразия терминологических возможностей понятийного описания феномена миграции мы рассмотрим три понимания миграции: дюргеймо-веберовское, зиммелевское и лумановское. Причем каждое понимание предполагает собственный функциональный смысл. Предварительно можно утверждать, что в целом феномен миграции оказывается в высшей степени функционально полезным феноменом, при всем том коммуникативном напряжении, которое оно создает. *Именно миграция генерирует новые формы общения* и, как следствие, служит пулом возможностей для создания новых коммуникативных систем. Одновременно миграцию можно понимать в качестве своего рода «могильщика наций», в этом смысле аналогично Марксову пониманию пролетариата, который, будучи призванным уничтожить буржуазию, уничтожает и сам себя как комплементарное ей явление, не существующее без своего антипода.

Что же касается содержательного рассмотрения, то в первом случае миграцию приходится понимать как одну из форм аномии, т. е. в одном таксономическом ряду с преступлением и суицидом. Именно в качестве аномии иммиграция служит воплощением либерально-индивидуалистического идеала, т. е. идеала высвобождения из-под давления социальных фактов (в смысле Э.Дюркгейма), как и идеала достижения религиозной свободы и связанного с ней экономического успеха.

Второе понимание предполагает рассмотрение мигранта как некую абстрактную фигуру *Чужого* или *Странника*, не вовлеченного в структуру локальных зависимостей, что позволяет ему оказываться посредником в процессе внедрения новых форм поведения и коммуникации (Г.Зиммель).

Третье – системно-коммуникативное – понимание (Н.Луман) интерпретирует миграцию как комплементарное явление по отношению к феномену *нации*, возникающее и исчезающее вместе с ней.

### **Миграция (эмиграция) как аномия и функциональный ответ общественному разделению труда**

Дюркгеймо-веберовский подход понимает миграцию как реакцию на неудачу в реализации либерального идеала, как утопическую попытку высвободиться из-под давления так называемых социальных фактов. Иммиграция выступает одним из способов достичь (не реализованной в некотором конкретном сообществе) естественной и непосредственной связи двух переменных – труда и успеха. В этом смысле история иммиграций начинается с учреждения плимутской колонии отцов-пилигримов. Сюда же можно отнести репатриацию евреев в Израиль. Первое описание этой формы миграции предложено в «Утопии» Томаса Мора. Миграция здесь выступает дополнительной функцией, позволяющей наконец связать независимую переменную труда и зависимую переменную успеха. В результате поиска некоторого далекого топоса и разрыва связей с некоторой локальностью предполагалось обнаружение такого «собственного места», где корреляциям труда и успеха ничто не будет мешать. Этот поиск «собственного места» хорошо согласовывался с религиозными представлениями, поскольку верующий не должен быть связан узами с таким преходящим обстоятельством, как место рождения, ведь его подлинное место бытия – запредельный трансцендентный мир, а земная жизнь есть некое путешествие в данном направлении. Собственно и сегодня в современных США и Европе миграция и поиски нового места работы, те или иные формы горизонтальной мобильности рассматриваются как более эффективная стратегия достижения успеха, чем активное выстраивание карьеры в рамках некоторого локального сообщества или одной и той же фирмы. Но основания такой ориентации действительно коренятся, как это полагал М.Вебер, в протестантских религиозных ориентирах, прежде всего корреляции труда, успеха и движения к «спасению».

Итак, естественной корреляции труда и успеха препятствовали «социальные факты», выражавшие, по мнению Дюркгейма, социальную необходимость. Но что конкретно представляла собой эта необходимость и какие формы ее преодоления были возможны? С точки зрения Дюркгейма, речь прежде всего идет о перенаселении старой Европы и вытекающей из этого все большей концентрации индивидов в рамках некоторых локальностей. Это явление служило ключевым фактором разделения труда и функциональной специализации общества на макросистемы. Разделение труда, оптимизировавшее по времени (ускорявшее) трудовой процесс, создававшее количественно большой продукт (аккумулированное время труда), выступало здесь *временным* ответом на концентрацию и перенаселение европейского континента. Миграция же в этом смысле выступала функциональным эквивалентом разделения труда. Как одна из форм аномии миграция явилась *пространственным* ответом – попыткой выхода за пределы пространственно-временных и коллективно-личностных ограничений, накладываемых на возможности трудиться и достигать успеха в условиях перенаселения и концентрации.

Такого рода социальная необходимость (концентрация, перенаселение, уплотнение – как базовые социальные факты) рождает и соответствующие формы освобождения от этой необходимости в пространственном, временном и коллективно-личностном измерениях: прежде всего речь идет об «аномических» средствах или возможностях «покидания» пространства (эмиграции) и «покидании времени» (суицидах) и преступлениях (преодоление личностью т. н. коллективных представлений).

### **Георг Зиммель. Миграция как инновативная форма общения**

Вторая и, как нам кажется, более плодотворная концептуализация миграции предложена в рамках так называемой философии жизни. Иммигрант, чужой, странник понимается здесь как единственная возможность генерировать новые глобальные системы коммуникаций, а именно – в сфере хозяйства, права, интимности, религии, – в условиях традиционных (средневековых, цеховых



и т. д.) ограничений. Фигура иммигранта получает фундаментальное значение. В отличие от дюркгеймо-веберовского подхода миграция понимается не как форма отклонения необходимости социального факта, но, напротив, – как выражение такой необходимости. Иммигрант – ключевой фактор социальной динамики. Функция мигранта и миграции состоит в производстве социального порядка нового, динамического типа.

Именно территориальные, пространственные границы традиционных сообществ обеспечивали единство коллектива. Но чтобы это единство получило зримое воплощение, чтоб с ним можно было иметь дело, требовалась его *реификация*, его представление в виде какой-то интуитивно понятной и осязаемой реальности. Так, в примитивных обществах средствами реификации единства коллектива служили сакральные места, изгороди, природные препятствия (горы, реки), даже места пролетания мух це-це и т. д.<sup>10</sup>

Однако в некотором переходном обществе, где уже начались процессы расширения групп, эту же функцию берет на себя странник, который всем своим наглядным, допускающим его живое восприятие обликом собственно и символизирует *единство* коллектива, противопоставленного чему-то чуждому, внешнему и далекому.

Он средство самоидентификации коллектива, но одновременно служит нормализации чего-то запредельного, неизвестного и опасного, чуждых форм поведения и коммуникации. Он осуществляет «приближение далекого» и в той или иной – пусть в *негативной* – форме усваивает чужие, привносимые странником и прежде невиданные типы коммуникации. Это если говорить абстрактно.

Если рассматривать конкретно, то в первую очередь речь идет об экономической коммуникации (где мигранта воплощают купцы, торговцы), о политической коммуникации (фигура воина-завоевателя, конкистадора), о религиозной коммуникации (фигура миссионера, нищенствующих монашеских орденов), о научной коммуникации (фигура ученого-путешественника, странствующего схоласта), но можно говорить и о других формах, характерных для более ранних обществ: об охотниках, колонизаторах, шаманах.

Благодаря мигранту пространственные ориентиры и дисктинкции *ближнее/дальнее, свое/чужое* теряют значение в определении поведения и коммуникации. Основанием рационального поведения становится ориентация на совсем иные – безличные –

смыслы коммуникации (деньги, власть, веру, любовь), которые ориентируют коммуникации независимо от каких бы то ни было границ и пространств.

Другим не менее важным следствием появления странника является феномен «нейтрализации экономических конфликтов». Для примитивных обществ конфликт носил разрушительный характер. Любая отклоняющаяся коммуникация грозила разрывом личных привязанностей и распадом общности. Поэтому личные связи, вообще говоря, не допускали безличных экономических отношений в современном смысле слова. Ценность произведенного продукта определялась не издержками и рынком, а отношением индивидов друг к другу, иначе говоря, их *пространственно-временной близостью*, родством и соседством. В условиях личных и соседско-родственных связей отказ продать был чрезвычайно опасным для локальной группы.

Другое дело, если эту активность осуществляет мигрант. Он ничем не связан с общностью, в которую он прибыл, а кроме того, никому из членов сообщества не известна себестоимость привезенного им «заморского» продукта. Привезенный издалека, он уже существует как бы сам по себе, а не является выражением личности продавца-производителя, интегрированного в местное сообщество.

Но прежде чем такого рода медиа безличной коммуникации, как деньги, получили универсальное распространение, таковым посредником, промежуточным или пространственно связующим звеном первоначально выступало все-таки индивидуальное лицо – фигура странника или мигранта.

То же самое имеет место и в отношении политики и власти. Дистанцирование властителя от подчиненных, возникновение самой власти – как максимально безличного способа трансляции коллективно-обязательных распоряжений *на расстоянии* – становится возможным благодаря мигранту в виде завоевателя. Многие, а может быть и, все государства возникают благодаря мигрантам, норманнам, викингам. Властелин должен быть пришлым, свободным от традиционных обязательств перед ближними, родовыми структурами.

В итоге возникают коммуникации, уже не замыкающиеся на личные встречи, на близость и пространственную ограниченность.

Прежде внутри примитивного общества или между соседними племенами реализовались дарственные взаимообмены. При этом норма «каждый дар должен быть отдарен» основывалась на личном присутствии обменивающихся дарами, и таковая близость обеспечивала возможности контроля. Лишь появление странника, неподотчетного и неподконтрольного в силу его «двойкой принадлежности» и поэтому способного выйти из-под интерактивного контроля, поставило эти процедуры и уверенность в последующем «отдаривании» под вопрос и потребовало компенсаторных безличных гарантий.

Обособление системы права, в свою очередь, требовало интеграцию в сообщество некой *объективно-судящей* инстанции, которая первоначально предстает не в виде безлично-объективного Закона, но первоначально должна была репрезентироваться фигурой странника:

«В силу того, что он не связан корнями со специфическими основами и пристрастиями и диспозициями группы, он противостоит всем им, неся в себе отчетливую “объективную” установку – установку, которая означает не только отрешенность и непричастность, но воплощает в себе четкую структуру, состоящую из отдаленности и близости, индифферентности и вовлеченности»<sup>11</sup>.

И это не является абстрактными выкладками, Зиммель проводит исследование доминирующих позиций в судебной системе итальянских городов, которые действительно замещают иностранцы.

Итак, странник-судья оказывается неким «исключенным третьим». Он должен быть отличен от обеих конфликтующих сторон и именно поэтому получает свой статус независимого от местных и установок, и настроений. Однако судья, не связанный с противоборствующими сторонами, все-таки и сам в конечном счете должен найти какие-то формы самолокализации – на той или другой стороне конфликта. Чтобы занять чью-то сторону в правовом споре от этих интересов первоначально требовалось дистанцироваться. Как такой парадокс может быть разрешен? Ответом на этот парадокс в конечном итоге оказывается особый коммуникативный код или медиум коммуникации: *право* или различие между *правовым и неправовым, законным и незаконным*. И хотя судья выступает на той или иной стороне конфликта, выбор его решения легитимирован безличным законом. Машинерия законов минимизирует участие личности, и странник оказывается подходящей метафорой и воплощением безличности.

На этом, однако, влияние мигранта не заканчивается:

«С характеристикой объективности сопряжен и феномен, связанный с прибытием странника. Ему зачастую приходится принимать самые удивительные откровения и признания, временами напоминающие конфессиональные исповеди, о вещах, которые тщательно скрываются от всякого, кто является близким человеком»<sup>12</sup>.

Как видно, странник делает возможным появление не только безлично и автономно функционирующих экономических и судебно-правовых типов коммуникаций и их регуляторов: коммуникативных медиа, денег и права-справедливости (а в перспективе и обособление особых социальных систем коммуникаций, известных под названием политики, хозяйства, правовой системы, науки и т. д.), но и способствует формированию автономии религиозных и интимных коммуникаций.

Присутствие мигранта или чужого как постоянная провокация и ирритация привносит возмущения в устоявшиеся интерактивные и коммуникативные потоки. С ним сопряжена опасность и деструкция социального порядка. Но именно посредством своего деструктивного воздействия эта реальность внешнего мира – как опыт сопротивления движению внутрисистемных элементов (= коммуникаций) – только и может реципироваться. Мигрант – выражение реальности внешнего мира сообщества. В противном случае сообщество имело бы дело только с собой и оказалось бы в состоянии застоя. Как видно, мое сообщение больше связано с надеждами, чем с разочарованиями.

### **Миграция как феномен денационализации**

Третью, более современную возможность концептуализации миграции я назвал системно-коммуникативной, где миграция понимается как фактор и следствие образования наций и одновременно – денационализации.

Natio – возникает именно как обозначение мигрантов – иностранных студентов и иностранных клириков. Лишь в XVIII в. семантика понятий нации и миграции распадается. Они становятся взаимодополнительными. Миграция возможна только в отношении нации, но мигранты противоположны нации. Вследствие фран-

цузской революции и казни короля нация получает современный смысл – нейтрализатора вопиющих классовых и социальных различий. Нация понимается как источник легитимации коллективно-обязательных, т. е. политических, решений. Эти решения в основном состоят в перекачке ресурсов из хозяйства для компенсации имущественного неравенства, обеспечивая относительно высокий уровень жизни и для низших слоев. Но именно эта компенсация и вызывает приток мигрантов.

С рождением нации, национальных государств рождается и иммиграция. Иммиграция – это то, к чему может обратиться нация, если ощущается внутренний дефицит – в специалистах, культурных элитах и просто рабочей силы. Но, к сожалению или к счастью, развитие современных средств распространения коммуникации, прежде всего электронной телекоммуникации, делает национальные границы бессмысленными, т. е. легитимность коллективно-обязательных решений уже не может обосновываться отсылкой к нации как эрзацу казненного короля. Благодаря электронной телекоммуникации очевидной становится искусственность такой апелляции, ее конструктивность.

Мировое общество распадается не на национальные государства, а на функциональные подсистемы мирового общества, мировую политику, мировое хозяйство, мировые религии. Применительно к этим гиперсистемам понятие миграции теряет смысл.

Теория коммуникаций исходит из допущения принципиальной или потенциальной доступности любой коммуникации для любой коммуникации. Все коммуникативные ориентиры и мотиваторы – власть, истина, вера, любовь – принципиально наднациональны, признаются в качестве таковых в любой точке мира, и в этом смысле в качестве ключевой характеристики современного общества приходится признать его мировой характер. Существует только мировое общество, в рамках которого нет миграций.

Это вовсе не означает, что исчезнут перемещения индивидов, напротив, миграции, видимо, достигнут таких масштабов, что дистинкция *нация/миграция* потеряет всякий смысл. Характеристика человека как мигранта – это точка зрения местного наблюдателя, ограниченного, который сам в этом смысле может характеризоваться в качестве аборигена. В мировом обществе не будет ни мигрантов, ни наций.

## **От инореференциальности к самореференциальному характеру социального теоретизирования**

Во многих учениях актуальность социального теоретизирования задавалась проблемой и процессами самоидентификации (с этносом, нацией, семьей, классом или социальной группой), призванными как минимум прояснить формирование солидарности. Однако, как представляется, в современном мире эта проблемопостановка во многом утрачивает актуальность. Общение, как ни странно это звучит, можно изучать безотносительно *человека*, ищущего возможности отождествить себя с кем-то или чем-то. Общаются, безусловно, люди, но общение есть вполне автономный процесс, осуществляющийся по собственным законам, и именно оно – актуальный предмет социальной теории и в особенности – социальной философии. И в связи с последним тезисом мы переходим к «неактуальным» проблемам.

### **К актуальности неактуальных проблем социальной теории и еще раз о ее предмете**

Неактуальные проблемы связаны с самой социальной теорией, с ее дисциплинарным статусом, с ее внутренней структурой. Сегодня вряд ли кто-то может определенно сказать, в чем состоит предмет социальной социальной теории. И менее всего в актуализации и определении предмета социальной теории заинтересованы сами социальные теоретики.

Определение собственного предмета непременно требует некоторого выхолащивания традиционного для философии содержания и прежде всего – выведения из ее рамок ряда чужих проблем и феноменов: человека, культуры, истории и т. д., в наше время концептуализируемых в рамках соответствующих дисциплин (антропологией, культурологией и т. д.) Это, безусловно, сужает рамки возможных спекуляций и социально-философских дискуссий.

И все-таки можно пойти на реактуализацию предмета социальной теории (философии), и мне кажется, во-первых, это может послужить в каком-то смысле спасением всей философии, а во-вторых, социальная философия структурой своего предмета будет отвечать вышеперечисленным актуальным вызовам.

Представляется, что есть определенный смысл в том, чтобы исходить из самой элементарной интуиции, заложенной в языке, а именно из очевидной языковой близости слов *общение*, *общество* и *сообщение*. Сообщение, т. е. русский эквивалент слова коммуникация, общение и общество почти сливаются по звучанию. Это безусловное не следовало бы рассматривать в качестве теоретического аргумента в пользу отождествления общества и общения, но это как минимум может служить методологическим ориентиром и указанием на то, что именно коммуникации и их структура должны являться (допускающим наблюдение и эмпирическую фиксацию!) предметом социальной философии.

Другая языковая интуиция касается словосочетания *социальная философия*. Минимального структурного уточнения этого понятия достаточно, чтобы очертить предметный интерес нашей дисциплины. Если мы вообще занимаемся социальной *философией*, то в сферу нашего интереса неизбежно приходится включать социальную онтологию и социальную эпистемологию как фундаментальные составляющие. В первой части нас интересует проблема субстрата, то, из чего «конструируется» и «составляется» общество. Наш ответ: общество состоит из общений, из коммуникаций, из сообщений. Это единственная возможность его эмпирически зафиксировать. Процессы общения даны в пространстве и времени и в этом смысле не отличаются от движений, скоростей, столкновений материальных тел.

Напротив, в качестве социальной эпистемологии социальная философия исследует условия возможности познания, наблюдения этого общения – и тут приходится уже исследовать метафизические понятия – пространства общения, времени общения, каузальных связей в процессе общения. К пространственно-временному измерению я бы добавил еще личностно-коллективное измерение в той мере, в какой любое общение непременно ставит и проблему авторства поступка (или каузальности). Вопрос о том, что является причиной того или иного поступка, указывает и на возможные ответы: конкретная личность, выступающая партнером по коммуникации, группа или сообщество, в которые включен индивид, или окружающая человека предметная реальность. Сама проблематизация каузальности действия позволяет в некотором смысле «спасти» метафизические понятия, к которым предъявлено много претензий

со стороны позитивистских подходов. Социальная философия оказывается философией *par excellence*. Почему? Потому что она наполняет конкретным содержанием, а значит, смыслом ключевые метафизические понятия – пространства, времени, каузальности и т. д.

Если мы овладеем этими понятиями, особенностями социального времени, трансформаций социального пространства и т. д., то можно подступать и к тем актуальным вызовам, которые я перечислил выше.

### Примечания

- <sup>1</sup> Ниже выражения «социальная теория» и «социальная философия» будут использоваться как синонимы.
- <sup>2</sup> «Коллективные репрезентации» Дюркгейма Блур называет «узлами сетей», некими устойчивыми различиями («живое/неживое», «инертное/активное» и др.). «...В консервативной Франции эпохи второй Империи спонтанная генерация жизни, как бы преступавшая границу между живым и неживым, отвергалась как теологически предосудительная, политически опасная, и всякий раз, когда казалось, что жизнь появляется спонтанно из приготовленных в лаборатории неживых веществ, то (ради соответствия наблюдению) постулировалось, что неизвестные, невидимые живые существа, уже изначально присутствовали в этих веществах или же вторгались извне» (*Bloor D. Durkheim and Manss revisited // Studies in history and philosophy of Science. 1982. Vol. 13. № 4. P. 269–270*). Наблюдение, таким образом, подчинялось *социально-детерминированным* сетям-классификациям. Так, и Бойль развивает «корпускулярную философию», согласно которой природу следует представлять в терминах частиц инертного вещества, слепо подчиняющихся законам движения и силам, таким как гравитация. Частицы вещества не содержат-де в себе активного принципа движения. Такого рода корпускулярные представления как раз и вытекали, по мнению Блура, из стремления Бойля противодействовать сложившейся социальной ситуации – широкой индивидуализации связанной с окончанием гражданской войны и реформацией, появлением сект движений – диггеров, левеллеров и др. Источник божественной мудрости и (в рамках собственной интерпретации священного писания) люди усматривали в себе самих и рассчитывали на прямое общение с Богом без посредника (церкви), а для организации общины отказывались от посредников – политической власти, государства, короля. И на место одушевленного и интеллигентного универсума Бойль помещает механическую философию с ее бездушным и иррациональным веществом. Она была призвана обуздать социальную и политическую активность.
- <sup>3</sup> В систематическом виде этот проект рефлексивного построения общественной теории осуществлен в исследовании Н.Лумана. См.: *Луман Н. Общество общества*. В 2 т. М., 2012.



- 4    Такого рода медиа коммуникации можно понимать как наиболее общие («генерализованные») средства организации и поддержания устойчивого общения.
- 5    Стандартными примерами фиксации наблюдаемых эффектов, указывающих на недоступную наблюдению реальность, являются камера Вильсона или «пузырьковые камеры» с перегретой жидкостью, вскипающей вдоль траекторий прохождения «невидимых» элементарных частиц. Но и в области «социальной теории», очевидно, допустимы спекуляции от наблюдаемого к ненаблюдаемому. Под такого рода эффектами Дюркгейм, например, понимал «миграции», «криминальные акты» и «суициды», позволяющие судить о некотором гипотетическом состоянии общества, «степени» и характере его солидарности, непосредственное наблюдение которого, очевидно, затруднено (*Дюркгейм Э. Самоубийство*. СПб., 1912).
- 6    Рассмотрим мысленный эксперимент, в котором участвуют два гипотетических близнеца, родившихся от смешанного брака и получивших идентичное образование, где один из них определяет свой этнос по матери, а другой по отцу. Какая наблюдающая инстанция позволит себе установить «правильность» их решений?
- 7    Отсылка к герменевтике до некоторой степени решает проблему невозможности приводить научно-обоснованные причинные объяснения в приписывании себе или другому той или иной этнохарактеристики. Ведь такие характеристики или атрибуты все-таки получают определенность в рамках – принципиально открытых для дальнейшего уточнения и обсуждения – интерпретаций. Они получают значимость в рамках «коммуникативной рациональности» (*Й.Хабермас*).
- 8    Теория социальных систем, в особенности в устах ее немецких проponentов, по понятным причинам остается почти невосприимчивой к темам этнической идентификации. Единственным исключением является исследование Бернарда Киттеля. Самоописание общества. Понятие нации – отсутствующее звено системной теории? (*Kittel B. Selbstbeschreibung der Gesellschaft. Der Begriff der Nation als missing link der Systemtheorie?* // Institut für Höhere Studien. Berlin, 1993).
- 9    Экстенсинал понятия **связан с некоторым множеством фактически наличествующих объектов**, интенсинал – с теми или иными смыслами объектов, вытекающих из особого положения, прежде всего – пространственно-временной позиции наблюдателя данных объектов.
- 10    Подробнее о пространственных разграничениях родовых обществ см.: *Антоновский А.Ю. Пространство родового общества* // Уранос и Кронос. Хронотоп человеческого мира. М., 2001.
- 11    Там же. С. 512.
- 12    Там же.

## РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

### ЗНАЧЕНИЕ И ФОРМА В ЛИНГВИСТИКЕ И СЕМАНТИКЕ

*А.Ю. Антоновский*

#### **Форма и значение в языке, сознании и коммуникации\***

Понятие формы – одно из древнейших и самых плодотворных философских и научных понятий, применяемых в большом числе научных дисциплин, математике, физике, биологии, социологии, лингвистике и когнитивных науках (в особенности в философии сознания, теориях искусственного интеллекта, философских теориях науки и конечно, в самой науке). Нашу задачу в этой статье мы видим в том, чтобы дать – пусть фрагментарный и неполный – обзор применений этого понятия в лингвистике и философии сознания и показать связь понятия формы и процесса понимания, которое это понятие делает возможным. Последнее предполагает прояснение роли формы для понятия коммуникации.

#### **Медиа восприятия и медиа коммуникации (Фриц Хайдер)**

Теория медиа распространения коммуникации в отчетливом виде впервые формулируется в теории медиа наблюдения, сформулированной австро-американским психологом Фрицем Хайдером<sup>1</sup>: с точки зрения нейрофизиологии мы видим и слышим предмет внутри себя в ушной мембране и на сетчатке, но переживаем его как находящийся в отдалении. Мы не испускаем манипулятивный

---

\* Статья написана при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект № 11-03-00672 («Социология знания как междисциплинарный проект развития эпистемологии»).

луч, не задействуем сонар, который возвращал бы нам характеристики предмета, как это имеет место у летучих мышей и дельфинов. Следовательно, ключевая роль инструмента наблюдения принадлежит независимому *посреднику* восприятия.

Причем сам этот посредник как раз и *ускользает от восприятия*, хотя именно он и отвечает за корреляцию между наблюдением и характеристиками предмета. Следовательно, с одной стороны, должны существовать каналы трансляции наблюдения (а именно, медиум *воздуха* – для звуковых образов, принимающий форму звуковых волн, и медиум *света*, принимающий форму электромагнитных волн). С другой стороны, есть некоторая каузальная цепь: освещающее (солнце), освещенное (предмет), отраженный свет, воздействие на сетчатку, передача электрохимического импульса по главному нерву, активация нейронных паттернов в мозге и наконец – феноменально переживаемый образ в сознании. Однако возникают вопросы: почему в этой цепи равноправных причин и следствий, мы видим *только* предмет как некоторое *выделенное* звено? И не является ли наблюдение двояко-детерминированным и свойствами *медиума*, и свойствами воздействующего на медиум *предмета*?

Существенные коррективы эти соображения заставляют вносить и в концепции истинности. Медиа (свет и воздух) выступают переносчиками энергии, импульса, который они словно получают от предмета наблюдения. Сам предмет при этом оказывается в некотором смысле *второстепенным*. Более того, то, что он «отпечатывает» в медиа наблюдения, оказывается дефинитивно-ложным, поскольку передаваемые им характеристики (характеристики колебаний, интенсивность и частоты волн), никак количественно и качественно не соответствуют *феноменально* наблюдаемому предмету.

Таким образом, медиа наблюдения выступают в функции «означающего», находящегося в каузальной зависимости с «означаемым» предметом, при этом несколько не похожим на последний. Возникает вопиющая несообразность: наблюдателя-человека в большей степени интересуют соразмерные ему макропредметы – движения автомобилей, падающие камни. Но в процессе фактического восприятия (конечно, за исключением деструктивных воздействий) они-то нас непосредственно «не касаются»; напротив,

несоразмерные нам микрообъекты (электромагнитные и звуковые волны) фактически воздействуют на нас, притом что сами ускользают от наблюдения.

Такое понимание наблюдения действительно трансформирует представление о воспринимаемых объектах и возможностях классической корреспондентской теории. Доступным «предметом» рефлексивного интереса должны считаться лишь *медиа* наблюдения. В этом самом широком смысле наблюдение посредством медиа оказывается *единством одновременного отрицания и утверждения*, поскольку наблюдение концентрируется на фактически недоступном *предмете* и не замечает (отрицает) его фактическую *данность посредством медиа наблюдения*. Наблюдение ошибается уже тогда, когда сосредотачивается на чем-то центральном, «интересном» для наблюдателя. Ведь уже самим этим фактом концентрации внимания оно приписывает чему-то наблюдаемому *предметный* статус. Наблюдение создает асимметрию, поскольку переоценивает *ненаблюдаемое означаемое* и недооценивает фактически *касающиеся* нас медиа. В момент наблюдения от наблюдателя как раз и ускользает то, *от чего* он отличил наблюдаемое (и прежде всего, конечно, от него ускользают сами медиа наблюдения как «слепое пятно» этого наблюдения – см. статью «Коммуникация и наблюдение как универсальный биологический, нейрофизиологический и коммуникативный процесс» в этом сборнике, посвященную анализу «собственных значений»).

Эти соображения впоследствии были применены к теории коммуникативных медиа, среди которых (прежде всего Никласом Луманом) были выделены две группы ключевых и социально-интегративно значимых медиа.

Во-первых, речь идет о функции *распространения* коммуникации, и в первую очередь – о *языке, религии и морали, предсказательных практиках, письменности, печати, кино и телевидении, компьютерах, электронных медиа*. Именно благодаря этим медиа в коммуникации обсуждается (= наблюдается) некоторый предмет, а все остальное и прежде всего – сами медиа выводятся из коммуникативного обсуждения, подобно тому, как медиа восприятия – воздух и свет – сами ускользают от их восприятия. Ключевую роль в этом обширном списке, однако, следует отнести техникам *письменности и книгопечатанию*. Именно эти медиа позволили

на время решить социально-интегративные проблемы, возникшие как ответ на (дез)организирующие функции языка. Такая социальная дезорганизация была связана прежде всего с возможностями языкового отрицания и, как следствие, – с *запрограммированным* в языке конфликтным потенциалом отклонений всякой вербально предложенной коммуникации.

Во-вторых, речь идет о медиа второго порядка, во всей полноте реализовавшихся лишь в современном дифференцированном обществе – в ответ на то, что медиа распространения коммуникации приводят к фактическому *распадению* коммуникации на свои составляющие (акт сообщения и отдельно от него осуществляющей акт понимания и акцептации предложенного сообщения). В современном обществе, утверждает Луман, языковое (материальное) выражение коммуникации, т. е. *сообщение*, потеряло связь с его *информационной* интерпретацией, а *понимание* коммуникации превратилось в самостоятельный процесс, не связанный с первоначальным *сообщением* и заложенным в нем интенциями. Это означает, что в современных условиях некоторый *Ego* не способен адекватно проинтерпретировать предложенную некоторым *Другим* коммуникацию на *самореференциальность* и *инореференциальность*. Это означает, что *понимающий Ego* в современном обществе уже не способен адекватным образом осознать, идет ли речь в предложенном сообщении об *информативном* описании ситуации или же о попытке *мотивации* со стороны *Другого*.

### Понятие формы в языке (Дж. Спенсер-Браун)

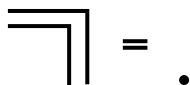
Я позволю себе использовать представление о форме в не совсем традиционном логическом исчислении Спенсера-Брауна<sup>2</sup>. Это представление о форме повлияло на социологическую теорию, прежде всего на теорию коммуникации. В этом исчислении задействован всего лишь один знак – «mark», являющийся и оператором или логической функцией, и переменной.



Но несмотря на свою простоту и элементарность, этот знак все-таки уже содержит некоторую латентную информацию. Он выражает и символизирует процесс отличия *обозначения и различения*. Поскольку он состоит из двух частей, он указывает на то, что ко всякому воспринимаемому предмету должен добавляться модус его презентации, наблюдения, операции с объектом. Отсюда вытекают некоторые онтологические следствия. Мир, данный в знаках, должен пониматься как состоящий не из вещей (категорий вещей), а из наблюдений вещей, из операций с вещами. Поэтому во всяком предмете наблюдения надо изначально учитывать *два обстоятельства* – сам предмет и его наблюдение. Во всякий предмет изначально включено социальное измерение, требующее ставить вопрос: кто наблюдатель?<sup>3</sup>

Примеры различения – слово и его смысл (лингвистическая форма), переживание (ментальная форма) и действие, вызванное переживанием (мы не можем указать на событие и сказать – это действие, а это переживание, без того, чтобы одно отличить от другого). Различение между истиной и ложью в научной коммуникации, законным и незаконным в правовой системе – это все примеры форм, способов организации медиа.

Какие законы существуют в этом различении? Я остановлюсь только на одном: *закон пересечения границы различения*, выхода за пределы различенного. С чем мы сталкиваемся, если различаем, отличаем саму операцию различения?



Это закон утверждает, что у знака нет коррелятов в мире, результатом применения знака к самому себе является пустое пространство. Существуют лишь различения и ничего другого. Мы способны производить различения. Наблюдение и есть различение: означающее отличается от означаемого, слово отличается от его смысла, предмет нашего обсуждения – от самого процесса нашего обсуждения, предложение – от события. Возникает вопрос: а что есть само это отличие и от чего оно отлично?

Если мы рассмотрим знак не в узком смысле (означающее), а в полном: и как обозначающее и как обозначаемое вместе. Обозначающее отсылает и непосредственному референту, и ко всему

остальному миру. У него две другие стороны. И то и другое – следствие дистинкций. Это противоречит интуиции, в соответствии с которой знак указывает на объект (который таким образом является следствием различения), тогда как остальной мир, который не является следствием различения, существует сам по себе. В этом смысле закон Спенсера-Брауна контринтуитивен: остальной мир является следствием различений, внешним по отношению к знаку выступает пустое пространство

### **Понятие формы в языке: индикация/дистинкция versus самореференция/инореференция**

Более конкретно этот тезис можно проиллюстрировать с помощью понятий индикация и дистинкция, самореференция и инореференция.

Говоря о чем-то, мы фокусируем внимание либо на некотором означаемом (скажем, на референте в виде яблока, отличая его, скажем, от груши. Индикация и дистинкция здесь осуществлены *инореференциально*, применяются к внешнему для самого слова референту.

Но мы можем осуществить индикацию и дистинкцию и *самореференциально*, т. е. применительно к слову «яблоко», отличив его от слова «груша» или от некорректных лингвистических форм, например от «яблако».

Итак, мы проводим инореференциальные различия между значениями форм и самореференциальные различия между самими лингвистическими формами, между словами. А что будет значением, если мы осуществим закон Спенсера-Брауна, спросим, от чего отличается само различение? Проведем различение различений *яблоко/груша* и «яблоко»/«груша». От чего оно отлично? Что является другой стороной этой формы? Стоит ли за этой формой какая-то реальность? Нет. Это различение более ни от чего не отлично. Вывод из такого рассуждения состоит в следующем: выхода к реальности за пределами различений нет. Мы обречены лишь сравнивать формы. Не существует человека как такового, а есть сравнение самых разных «конститутивных» различений, которые, повторяясь, словно конденсируются в объекты (первый закон Спенсера-Брауна,

который мы здесь специально не рассматривали). Речь может идти о различениях греховное (человеческое)/ангельское (безгрешное), смертное/бессмертное, социальное/асоциальное и т. д.

### Форма и коммуникативное понимание

Что дают эти понятия формы для анализа коммуникативного понимания? Мы не можем ничего знать о том, какие дистинкции осуществляет наш контрагент. Мы не можем знать, какие смысловые дистинкции осуществляются в его сознании. Но мы точно знаем, какие дистинкции осуществляются в области *самореференции*. Обозначающее, языковая, вербальная форма дана с очевидностью. При этом инореференциальная проблемность смысла внешнего референта, неизвестность того, какие инореференциальные дистинкции осуществляет наш партнер, что он имеет в виду, когда произносит слова, как раз и не стопорит общение, а скорее является его условием, требует уточнений, провоцирует вопросы и собственно запускает коммуникацию: требует подсоединения одного коммуникативного акта к другому.

Но можно говорить и о понимании в более глубоком смысле. Речь идет о понимании связи между формой и ее другой стороной. Я понимаю, если понимаю, от чего произносящий отличает яблоко: от других слов или от других смыслов, разрешаю принципиальную амбивалентность любого сообщения, его способность концентрироваться вокруг самореференциальных и инореференциальных значений.

Для облегчения понимания различности и связи двух типов различений – самореференция/инореференция и индикация/дистинкция сведем их в таблицу.

Тип формы	Операция на внутренней стороне формы	Операция на внешней стороне	Логическое отношение сторон	Функция в системе	Языковые проявления	Наличие симметрии между сторонами
И/Д	Индикация	Дистинкция	Противоположность	Коннективность	Фонемы	Асимметрично



С/И	Самореференция	Внешняя референция	Подтверждение	Дифференциация, автономия	Монемы, морфемы	Симметрично
-----	----------------	--------------------	---------------	---------------------------	-----------------	-------------

### Некоторые выводы

Изоляция и системная замкнутость знаков состоит в том, что слово, понимаемое как означающее, абсолютно непохоже на обозначаемый им референт, как и в том, что *смысл* знака – или означаемое – не способен подсоединяться к констелляциям слов или предложений. Хорошей метафорой сопряженности смысла и слова служит сопряженность дорожной сети и сети дорожного освещения. Освещение обеспечивает движение по дорогам, возможность менять пути и направления, но одна дорога подсоединяется к другой, разветвляется и однажды заканчивается, в то время как сеть освещения всегда лишь сопровождает и обеспечивает движение, т. е. делает возможной коннективность дорожной сети, сама оказываясь неспособной влиться в собственно дорожную сеть.

Домен знаков оказывается замкнутым в этом смысле именно потому, что он не включает в себя смысловые коннекции, всегда остающиеся внешней стороной системы знаков. Использование знаков в этом смысле суть операции закрытой системы материальных объектов, особые формы в звуковых и оптических медиа, обособившиеся от остального мира (остальных шумов etc.). В то же время регистр и резерв потенциальных подсоединений этой системы знаков формируется как горизонт всякого актуализированного знака (означающего), и этот горизонт обеспечивает открытость и произвольность в подсоединении знаков друг к другу и соответственно возникновение системы коммуникаций.

Эпистемологические выводы из такого подхода к языку состоят в следующем. Всякий знак можно интерпретировать как двустороннюю форму с внутренней и внешней сторонами. При этом внутренняя сторона (означающее) репрезентирована собственно подсоединяющимися друг к другу элементами системы – оптическими и акустическими формами в оптических и акустических медиа. Внешняя сторона репрезентирует внешний мир системы, в

отношении которого система и утверждает свою автономию и который не может войти в число элементов системы. За автономию отвечает системное свойство *избыточности возможных коннекций*, обеспечивающее возможность замещения всякого знака любым другим знаком, а следовательно, их независимость от внешнего мира – от мира смыслов или мира означаемого.

*Эта автономия или произвольность в порядке подсоединения собственных элементов системы знаков обеспечивает более общую автономию системы коммуникаций, которая благодаря автономии знаков не нуждается в том, чтобы следовать логике событий внешнего мира.*

В свою очередь смыслы, всегда сопровождающие, но неспособные к коннекциям с последовательностями знаков, могут отождествляться с внешним миром, миром объектов или референтов знаков. Произвольность и изоляция сферы означающего обеспечивается тем обстоятельством, что слово (как знак) сохраняет свою идентичность (и независимость от смысла) благодаря конститутивной дифференции *индикация/дистинкция*, т. е. благодаря его составленности из дифференциальных элементов, а именно – из фонем, взаимно-оппозиционных структур, требующих подсоединения одной фонемы к другой. Собственный смысл *фонем* (в отличие от «семантического» смысла *монем*) состоит в «чистой коннективности», не требующей референции к внешнему миру. Именно это различие и отвечает за закрытый характер языка. Таковая *чистая* коннективность и замкнутость обеспечивается словарями, грамматикой, идиоматикой и т. д.

В отличие от фонем монемы являются подлинными языковыми знаками, поскольку реализуют не только различия *индикация/дистинкция*, но и используют другую ипостась формы Спенсера-Брауна, а именно дифференцию *самореференция/инореференция*, которая снабжает *обозначающее* подлинным – семантически понимаемым – смыслом.

Теперь смысл, сохраняя первичную функцию коннективности, неслучайного подсоединения знаков друг к другу, сообщает языку и *функции инореференции*, – не отменяя его системной замкнутости, отсылает к внешнему миру языка. Внешний мир может быть обозначен только посредством *СИ-дифференции*. Знаки на этом уровне могут указывать на все что угодно, включая себя самих как часть их внешнего мира (re-entry), от которого они обособились.

## Форма в сознании: ментальная форма

С проблемами ментальной формы, ментальных предикатов мы сталкиваемся в философии сознания. Теория идентичности (Джон С্মарт, Юллин Плэйс<sup>4</sup>) проблематизирует понятие «ментального предиката» (чувственные ощущения «боли», «красного», но не только их) как некоторого аналога лингвистической формы или «означающего». Ментальный предикат (как и лингвистические формы, т. е. монемы, морфемы звуки, слоги, буквы, слова, предложения) обладает некоторой инореференцией, представляет нечто «вовне» (как бы указывает на свое значение, на свою другую сторону, «означаемое»). Сверх того, ментальная форма способна вступать в те или иные самореференциальные отношения с другими формами (*ощущение* голода порождает моторные реакции организма (поиск пищи) и, как следствие, порождает вкусовые *ощущения*). Но сам характер отношений между формой и ее референцией, между означающим и означаемым в сознании оставался проблемой.

В подходе, получившем название «теории идентичности», Дж. С্মарт и Ю. Плэйс предложили *идентифицировать* ментальные предикаты и некоторые физические свойства. Последнее понималось как некая *неотъемлемая* «другая сторона» предиката, своего рода другая сторона одной и той же медали. Всякий ментальный предикат, утверждают С্মарт и Плэйс, выражает или воплощает некоторое физическое свойство, а всякому ментальному предикату соответствует физический предикат, а вместе они, не являясь *синонимами* (т. е. имея разные смыслы, но общее значение, во фрегевском смысле), именно благодаря общему значению оказываются тождественными, как могут быть тождественны две стороны одного феномена. Форма и здесь есть дистинкция внутреннего внешнего.

Это, безусловно, требовало как-то реферировать *критерии идентичности различающихся* свойств (скажем, температуры и кинетической энергии молекул) в целом, не основываясь на проблематичной идентификации по общему объекту. Так, «вечерняя звезда» идентична «утренней звезде», поскольку обе они указывают на некоторый общий объект – планету Венеру. Но почему «вечерняя звезда» не «обладает» своей собственной, «частной», «ве-

черней» пространственно-временной объектностью? Разве ей не соответствует свой собственный, некий ограниченный во времени «вечерний» объект?

Итак, при анализе объекта волей-неволей приходилось учитывать свойства наблюдателя, т. е. некоторой перспективы, концепции, системы отсчета, в которую включен объект. Именно позиция наблюдателя определяла различающиеся смыслы одного и того же феномена.

Проблема тождественности свойств ментального и физического требовала решить вопрос универсальных критериев идентичности. Один из вариантов решения проблемы *критериев идентичности свойств* был предложен в теоретико-редукционистских подходах К.Хукера и Э.Нагеля<sup>5</sup>. Так, температура газа полагалась идентичной средней кинетической энергии его молекул, поскольку классическая термодинамика может редуцироваться к статистической механике. Такое отождествление явлений и их теоретических описаний определяется *общей каузальностью*, одинаковыми следствиями у кажущихся различными феноменов. Очевидно, что повышение температуры во всех случаях ведет к тем же следствиям, что и увеличение средней кинетической энергии молекул, и наоборот.

Такая интерпретация ментальных предикатов (с присущей каждому другой физической стороны) не посягала на *закрытость* физического мира. Ведь каждому физическому событию (например, движению руки) предшествует свое причинным образом воздействующее физическое событие (например, нейрохимический сигнал). Привнесение дополнительных – ментальных – факторов в форме психических ощущений, желаний и полаганий, с одной стороны, привносило бы проблему избыточности «психических» причин (например, «желаний») для физической каузации. Это и ставило бы под вопрос вышеозначенную замкнутость физических взаимодействий.

Теория тождества полагала *ментальные формы* всего лишь некоторыми особыми *формами проявления* физических процессов. Ментальные представления мозговых процессов имели отличные (от физических явлений) – нефизические – *смыслы*, поскольку они являлись наблюдателю – переживающему их в сознании – не в виде физических событий, активации неких нейронных ансам-

блей, а лишь в виде *красного, зеленого, чувства боли или голода*. Но им могло соответствовать физикалистски интерпретированное значение: активация нейронов, нейрохимические реакции в нейронных сетях.

Итак, всякая ментальная форма некоторым образом представляет, т. е. *обозначает*, физическое событие. Но в чем же тогда состоит «нефизический» смысл или содержание ментальных форм? Здесь Смарт вынужден вводить смысловые (коллективно-личностное и пространственное) измерения смысла, зависящие от вида доступа наблюдателя к явлению, от того, где локализован наблюдатель – вне или внутри сознания.

«Ощущения (ментальные формы. – А.А.) являются *личными*, мозговые процессы – *публичны* (т. е. коллективны. – А.А.). Если я искренне делаю высказывание “я вижу желто-оранжевый послеобраз” и при этом не делаю грамматических ошибок, то я никак не могу здесь ошибиться. Но я могу ошибиться в отношении мозговых процессов. Ученый, наблюдающий мой мозг, может попасть под влияние иллюзии. Кроме того, представляется осмысленным утверждение лишь о том, что двое или большее число людей наблюдают один и тот же мозговой процесс, но никак не о том, что двое или большее число людей сообщают об одном и том же внутреннем опыте»<sup>6</sup>.

Итак, различие в смыслах между ментальной формой и ее физической «другой стороной», которую она *обозначает*, которое, как это и следовало бы из Фреге, есть различие не *онтологическое*, а *эпистемическое*. Это различие между *личной априорной истинностью* формы и принципиальной фальсифицируемостью социального или коллективного наблюдения физического процесса как значения этой формы. Тем самым возникают два принципиально различных доступа: эпистемический (лично-определенный) доступ к ментальной форме и онтический (коллективный) доступ к (физикалистски понимаемому) значению формы.

## Переход от предметной идентичности ментальной формы и ее значения к функциональному представлению ментальных форм

Решительный удар по теории тождества ментальной формы и физического содержания («мозгового процесса»), как известно, нанес С.Крипке. Таковая связь, по мнению логика, является контингентной (возможной по-другому), т. к. в одних обстоятельствах активация того или иного образа или ментальной формы (например, боли) сопровождалась бы одним мозговым процессом (например, активацией гипотетических «Си-волокон»), а в других – каких-то иных волокон или нейронов. Боль является *жестким десигнатором*, т. е. всегда равна себе во всех возможных мирах. То же самое касается и так называемых «Си-волокон», во всех мирах являющихся тем, что они есть. Но каждая их связь не является необходимой. И действительно, как показывают результаты позитронно-эмиссионной томографии, одни и те же ментальные состояния сопровождаются активацией схожих и рядом расположенных, но разных нейронных ансамблей и областей, не говоря уже о том, что в случае повреждения тех или иных тканей мозга их функции способны брать на себя иные участки коры.

Попытки прояснить – гораздо более комплексные – отношения ментальных форм (ощущений, желаний, полаганий) и их «физических смыслов» возобновили представители функционализма. Ментальные формы понимались как функциональные состояния, т. е. такие состояния, которые обозначаются как *каузально-определенные события*: во-первых, являются *следствием* внешних по отношению к психике событий (боль есть следствие ожога), во-вторых, являются *причинами* внешних событий (боль – причина отдергивания руки от горячего места), в-третьих, вступают в причинно-следственные отношения с другими ментальными формами (*ощущение боли – причина желания избежать боли*).

Отношение ментальной формы (функционального состояния) и того, что она обозначает или презентрует, теперь выглядит более конкретно. Это отношение получило название *реализации*. Формы как функции теперь реализуются не необходимым, а действительно контингентным образом – и через мозговые процессы, и процессы в механических автоматах. Но сами *причинно-следственные*

*функции* не являются физической реальностью, а представляют собой некие диспозиции, условные предложения «если... то...», аккумулирующиеся в тот или иной алгоритм или «теорию» возможного поведения автомата или индивида.

Значением ментальной формы выступает таким образом, с одной стороны, множество *возможностей ее реализации* (в виде человеческого мозга или в виде компьютера), а с другой – множество возможных поведений, действий, конкретной реализации. Значением такой ментальной формы, как голод, может служить движение в сторону пищи в случае ее человеческой реализации или изменение маршрута самоуправляемого автомата в случае ее машинной реализации.

Итак, значением ментальной формы, согласно ее функционалистской интерпретации, являются физическая *реализация* формы и *каузальные функции* формы в виде написанного алгоритма или программы.

Однако за скобками оставались интуитивно привычные значения форм, а именно – само *переживаемое* в процессе переживания. Кроме того, по меньшей мере, теоретически могли бы разрабатываться так называемые «странные»<sup>7</sup> реализации форм. Речь шла о том, что каждая строка в программе машины, алгоритма может выполняться отдельной группой людей, которые не понимают и не переживают некое феноменального смысла поставляемой на входе информации, того, *о чем* идет речь в процессе некоторой осмысленной операции, того, как нечто чувствуется или переживается<sup>8</sup>.

Так или иначе, приходится добавлять в качестве третьего претендента на роль значения ментальной формы (помимо указанных физических реализаций и каузальных связей) еще и само *переживаемое*. Имея в своем распоряжении форму «красное», мы с ее помощью можем переживать нечто красное. Само переживание красного при этом, очевидно, не является красным.

Существеннейшей проблемой функционализма стало отношение между значениями ментальных форм – между *каузальными связями* форм (связью переживания, скажем, *переживанием* красного, вытекающей моторной реакцией – *срыванием* красного томата и самим переживаемым *образом* красного томата). Выяснилось, что в некоторых случаях *переживание* лишь произвольно связано с тем, какую *каузальную* роль оно играет

в причинении последствий, поведения. Одни и те же переживания должны были вызывать одни и те же физические реакции, например телесные операции во внешнем мире сознания, хватание, срывание. Но ряд мысленных экспериментов доказал, что это не всегда так. Связь переживания и переживаемого, с одной стороны, и его типовых каузальных ролей, с другой, оказалась произвольной.

### **Понимание формы и инвертированные квалиа (ощущений)**

Однако в каузальной интерпретации ментальных форм никак не учитывались *феноменальные* свойства ощущений и переживаний, т. е. то, как нечто чувствуется и как нечто переживается. Оставалось неясным, как связан характер моего *ощущения* красного с каузальной ролью этого ощущения? Как ментальная форма связана со своим значением? Если нет такой связи, то мы не можем *понять* Другого. Ведь в этом случае невозможно связать его внутренние дистинкции (его внутреннее самореференциальное различие красного и зеленого) с внешними, инореференциальными, деятельными дистинкциями: *срыванием* красного томата и *оставлением* зеленых плодов).

Выяснилось, что в некоторых случаях *ощущения* лишь произвольно связаны с тем, какую *каузальную* роль они играют в причинении последствий, поведения. Предположим, человек страдает неким аналогом дальтонизма (с детства воспринимает цвета инвертированно – красное он ощущает как зеленое и наоборот). Ощущение *Красного* в этом случае не может *реализовываться* в виде «каузальной роли», ведь за это ответственна противоположная форма.

Возникает парадокс противоположности тождественного: *противоположные ментальные формы (красное и не-красное) тождественны в отношении их каузальной роли или реализации. Характер ментальной формы, ощущения в случае инвертированного цвета оказывается безразличным для его каузальной роли.* Как в этом смысле ощущение может определяться каузально?



*Я хочу оставить этот парадокс нерешенным и делаю вывод: произвольность в отношениях формы и значения есть существеннейшая характеристика формы. Такое же произвольное отношение характерно и для понимания формы в научных теориях, и для понимания формы в языке и коммуникации.*

(Конечно, такие ментальные формы, как ощущения цвета, допускают инверсию, но другие ментальные формы (скажем, голод) не могут брать на себя каузальные роли гетерогенных ментальных форм (скажем, ощущения счастья или даже боли).)

Имеют место постоянные *осцилляции* между двумя значениями формы. Каждая форма представляет собой два *одновременно* осуществляющихся различия. Так, ментальная форма «красное» представляет собой дистинкцию со своей «референцией» – ее каузальной ролью, физическими операциями тела, которые она «причиняет», в этом смысле ментальная форма обладает некоторой инореференцией.

Но одновременно ментальная форма красное «встроена» в самореференциальную дистинкцию *красное/не-красное*, в частности представляет собой различие *красное/зеленое*. В природе имеет функциональный смысл не просто фиксировать нечто как красное, но отличать его от зеленого, поскольку именно овладение таковой формой, предположительно, обеспечивало выживание, например различие спелых и неспелых плодов.

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что несмотря на известную произвольность отношения *форма/значение*, существуют некоторые жесткие различия в реальности (внешнем мире восприятия, например спелое/неспелое), которые как бы навязывают корреляции на уровне формы (на уровне самореференциальных дистинкций типа различия красное/зеленое).

Красное еще не является целостной ментальной формой в собственном смысле слова. И оно поэтому не может представлять (реферировать к, указывать на) функцию или каузальную роль. Лишь различие между красным и не красным (зеленым) является формой в собственном смысле слова и представляет и способно запускать физические каузальные процессы – различия в действиях человека: *срывать спелый плод/оставлять зеленый*.

Подведем некоторые итоги: форма есть различие между самореференциальными и инореференциальными значениями формы (в нашем случае: различие в переживаниях между *красным/*

*не-красным* и различие в действиях *сорвать спелый плод/оставить неспелый*). Понять Другого в этом смысле – значит сравнить самореференциальные дистинкции (красное/зеленое) с их реализациями в виде инореференциальных дистинкций (сорвать или не сорвать красный плод).

Понимание ментальных форм базируется не на самореференции (как это имело место в понимании языковых форм), а на инореференции. Мы базируем наше понимание Другого, когда констатируем физические реализации ментальных форм, действия, а не когда реконструируем скрытые в сознании самореференциальные значения и дистинкции формы (красное/не-красное).

Фундаментальным условием понимания в *вербальной* коммуникации являются самореференциальные дистинкции языковых форм, т. е. различия между словами. Эти дистинкции даны с несомненностью и очевидностью. Цель или мотив вербальной коммуникации – зафиксировать соответствие или различие между очевидной самореференцией и гипотетической инореференцией.

Фундаментальным условием понимания психических процессов в сознании Другого, напротив, являются инореференциальные дистинкции (различия в действиях, в реализациях ментальных форм), а самореференциальные дистинкции принципиально скрыты. Но именно это является мотивом понимания Другого.

## Примечания

<sup>1</sup> Heider F. Ding und Medium. Berlin, 2005.

<sup>2</sup> Spenser-Brown G. Laws of Form. Ohio, 1974.

<sup>3</sup> Например, мы не можем задать классический вопрос, о том «что есть человек», не ставя вопрос о том, кто ставит этот вопрос. Священник может утверждать, что человек есть существо, обремененное грехом. Но приходит ученый-медик и утверждает, что священник наблюдает человека исходя из неререфлексивно используемого различия: божественное/человеческое, безгрешное/греховное. Семантика этого понятия, т. е. определение человека как греховного существа, определяется спецификой социальной структуры, церкви, социальной системой религии, с ее особым типом наблюдения, которое само по себе является для нее слепым пятном. Но и сам ученый-медик, определяя человека в качестве существа, обремененного болезнью, не видит того, что семантика его понятия человека определена конститутивным для системы медицины различием: болезни и здоровья.

- <sup>4</sup> Smart J.J.C. Sensations and Brain Processes // *Philosophical Review*. 1959. № 58. P. 141–156.
- <sup>5</sup> Hooker C., Nagel E. An introduction to logic and scientific method. 1934.
- <sup>6</sup> Smart J.J.C. Sensations and Brain Processes. P. 62.
- <sup>7</sup> Block N. Troubles with Functionalism // C.W.Savage (ed.). Perception and Cognition. Minnesota Studies in Philosophy of Science. Vol. 9. Univ. of Minnesota Press, 1978. P. 276.
- <sup>8</sup> Для того чтобы воспроизводить программы сложных организмов, требуются в этом случае огромные количества ответственных за строчки, за каждую возможную поведенческую опцию: «если больно, следует отдернуть руку и перейти в состояние  $X_{n+1}$  (один человек); если хочется спать, разложить постель и перейти в состояние  $X_{n+2}$  (другой человек или устройство). Нед Блок делает вывод, что функциональные системы механического типа (машина Тьюринга, черепашка Грэя), а также аморфные слабо связанные механические комплексы являются точными функциональными эквивалентами сознания, выполняют те же операции, являются «странными (но физическими) реализациями» функций, программ или алгоритмов, включены в каузальные связи с физическими процессами, но не имеют в своем распоряжении чего-то вроде ментальных состояний или форм. Они слишком разрознены и аморфны, чтобы в них появилось нечто вроде образа того, о чем идет речь, чтобы в них было какое-то единство сложного многосоставного процесса. Они регистрируют лишь связи информации на входе (и конвертируют ее в информацию, поставляемую на выход). Нед Блок называет это «китайским телом», имея в виду следующее: сознанием человека как некой дистанционной игрушкой или механической моделью, вроде самолета или автомобиля, огромным количеством диспозиций если (вижу, слышу, чувствую А, В, С, то делаю или не делаю X, Y, Z), может управлять огромное число ответственных за каждую операцию инстанций. Но это не значит, что у всего этого множества ответственных есть единый ментальный образ. Если актуализируется ментальная форма «красное» в форме красного томата, то включается механическое, причинным образом определенное действие – можно томат сорвать с грядки. Но то, как чувствуется «красное», как раз и неведомо ответственной инстанции, которая регистрирует поступление сигнала (определенной частоты видимого спектра) и запускает поведенческую реакцию в дистанционном устройстве – сознании подведомственного человека.

## **Проблемы антиреалистской интерпретации собственных имен в аналитической философии\***

### **І. Постановка проблемы**

Лингвистический поворот начала XX в. ознаменовал возникновение так называемой аналитической философии, характерным признаком которой было обращение к анализу языка<sup>1</sup>. Работы Г.Фреге, Б.Рассела, Л.Витгенштейна положили начало решению традиционных философских вопросов о природе сущего посредством анализа структур языка. Как отмечает отечественный исследователь Л.Б.Макеева, «за этим подходом к решению метафизических проблем стоит вера в то, что наиболее общие особенности реальности каким-то образом запечатлены в структуре языка и могут быть выявлены в ходе ее анализа... <...> Только анализируя наши суждения или высказывания о мире, которые мы признаем за истинные, мы можем составить представление о том, какого рода объекты и сущности обладают реальным существованием»<sup>2</sup>.

В связи с этим в аналитической философии выходит на первый план разработка верной теории референции, которая будет адекватно отображать то, какие языковые выражения обозначают что-то и что именно они обозначают<sup>3</sup>. Как пишет Л.Б.Макеева, «понятие референции выступает своего рода индикатором существующего. Это представление о референции стало почти “общим местом” для многих аналитических философов вопрос об онтологическом статусе тех или иных видов объектов и вопрос о референциальном статусе языковых выражений, обозначающих эти виды объек-

---

\* Статья написана при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект № 11-03-00608а («Референция: логико-философский анализ»).

тов, – это, по сути, один и тот же вопрос»<sup>4</sup>. Таким образом, то, как философ решает проблему референции, определяет и онтологию, принимаемую данным философом. Наиболее эксплицитно данная позиция выражена у У.Куайна, связывающего вопросы существования и значения: «Here, then, are five ways of saying the same thing: “There is such a thing as appendicitis”; “The word ‘appendicitis’ designates”; “The word ‘appendicitis’ is a name”; “The word ‘appendicitis’ is a substituent for a variable”»<sup>5</sup>.

В последние десятилетия в аналитической философии широко обсуждается вопрос о референциальном статусе некоторых имен, которые традиционно назывались в философии и логике «пустыми»<sup>6</sup>, то есть имен, относящихся к заведомо несуществующим сущностям.

Значение имен, подчеркивает американский философ А.Стролл<sup>7</sup>, также связывалось большинством философов-аналитиков с вопросами существования. Положение, согласно которому имя должно обозначать нечто, что существует, в противном случае оно не является подлинным именем, сегодня фактически считается многими философами-аналитиками аксиомой, не требующей дополнительного обоснования. При этом под существованием в большинстве случаев понимается физическое существование. Наиболее радикально эта мысль выражена в последних работах Newton Garver и Seung-Shong Lee: «In philosophy there is no good talking about something that is not there»<sup>8</sup>.

Такие влиятельные аналитики, как Дж. Сёрл и П.Строссон, также разделяют эту идею. В формулировке Дж. Сёрла она также выглядит довольно радикально: «Whatever is referred to must exist»<sup>9</sup>. П.Строссон немного ослабляет эту идею следующим образом: «...it would not *in general* be correct to say that a statement was about Mr.X or the-so-and-so unless there were such a person or thing»<sup>10</sup>.

Учитывая длинную историю данного взгляда, укорененность этой «аксиомы» в современных представлениях о референции в аналитической философии не удивительна. Данное положение принималось еще Фреге в несколько иной формулировке: он утверждал, что мы не можем приписывать свойства или отрицать их наличие у несуществующего объекта. В работе Рассела «Философия логического атомизма» оно получило дальнейшее развитие. Как известно, Б.Рассел считал, что существуют некие подлинные

имена. Такими именами могли, с его точки зрения, считаться такие выражения, как «это», «сейчас» и т. д., референты которых определялись остенсивно и которые функционировали как бирки. Сторонники теории прямой референции<sup>11</sup> восприняли и развили взгляды Рассела, распространив способ функционирования индексикалов на все имена в принципе, и утверждали, что все подлинные имена должны функционировать как бирки, прикрепляемые к некоторому физическому объекту.

Однако при таком понимании возникает вопрос, какие объекты мы обозначаем, говоря о героях вымысла, объектах науки и т. п. Каким образом, если имена могут обозначать только существующие объекты, можно говорить о несуществующем? Отказ от смыслового содержания в теории прямой референции только усугубил эту проблему, ведь, если имя каким-то образом описывало предмет, как это было в дескриптивной теории референции, можно было считать, что имена несуществующего обладают хотя бы смыслом. Теория прямой референции, напротив, сохранила за именами лишь одну составляющую значения, которой оказывалось явно недостаточно для того, чтобы говорить о несуществующем.

Вследствие этого проблема «пустых» имен становится одной из важнейших проблем для философов, занимающихся теорией референции. С одной стороны, эти имена постоянно употребляются в языке, и говорящие, использующие эти имена, осуществляют успешную коммуникацию, а с другой, в рамках вышеописанной позиции, «пустые» имена не имеют семантического содержания. Это противоречие представляет серьезную угрозу для современных теорий референции и вызывает сомнения в том, действительно ли они дают верное описание того, как используется наш язык. Отсюда возникает необходимость объяснения функционирования «пустых» имен в языке. Важность проблемы «пустых» имен для теории референции подчеркивал еще Бертран Рассел. В работе «On denoting» прозвучала мысль о том, что теория референции должна решать по крайней мере три важнейшие проблемы, в числе которых он называет и проблему «пустых» терминов<sup>12</sup>. Вслед за Расселом каждый философ, занимающийся теорией референции, пытался дать свое решение проблеме «пустых» имен. В противном случае теория референции, которая не могла успешно справиться с данной проблемой, оказывалась несостоятельной.

Необходимость решения проблемы «пустых» имен породила существующее многообразие подходов к данной проблеме. Среди них можно выделить стратегии устранения «пустых» имен из семантики, введение контекстной семантики, а также истолкование использования «пустых» имен в рамках прагматики. Все эти стратегии будут подробно рассмотрены в разделе III.

Стоит упомянуть о том, что наряду с антиреалистской интерпретацией «пустых» имен существуют и реалистские концепции, получившие гораздо меньшее распространение в современной философии. В частности, Т.Парсонс, Г.Приест и Э.Залта утверждают, что имена могут обозначать объекты, которые не существуют. Эти авторы строят теории несуществующих объектов, которые являются референтами данных имен<sup>13</sup>.

В данной статье мы не будем касаться реалистских трактовок и сосредоточимся на рассмотрении антиреализма в отношении «пустых» имен. Цель данной статьи заключается в том, чтобы проанализировать существующие подходы, основные средства, которые они используют, и то, насколько они отражают обыденную практику употребления «пустых» имен в естественном языке.

## **II. Основания антиреализма и история становления антиреалистской интерпретации «пустых» имен**

Принятие того, что все выражения, имеющие грамматическую форму имени, имеют референты, действительно, порождает целый ряд проблем. Как известно, австрийский философ А.Майнонг полагал, что каждая обозначающая фраза имеет референт. Принятие этого положения привело его к противоречивым выводам, что до сих пор служит основанием для многих философов считать его концепцию синонимом противоречивости и запутанности. Совокупность проблем, встающих перед сторонниками майнонгианского подхода, а также иные онтологические интуиции отдельных философов послужили для многих из них основанием для отказа от того, что имена несуществующего могут иметь референты. Можно выделить по крайней мере три основные проблемы, которые возникают в том случае, когда мы принимаем наличие референтов у так называемых «пустых» имен.

## 1. Онтологическое основание

Онтологический вопрос является основным вопросом, встающим перед философом-аналитиком, принимающим, что «пустые» имена могут обозначать объекты. Если язык соотносится с онтологией и если подлинные имена обозначают только то, что существует, согласно принимаемому большинством аналитических философов положению, то возникает вопрос, каков онтологический статус объектов, обозначаемых данными терминами. Из этого вопроса вытекают другие: каковы свойства этих объектов и в каком смысле они обладают ими? Все ли «пустые» имена имеют референт, а если не все, то на каком основании мы проводим между ними разделение? Каковы критерии идентичности, сходства, различия несуществующих объектов?

Очевидно, так как эти объекты не будут являться объектами физического мира, то неясно, каким образом мы сможем убедиться в их существовании. Если критериями существования физических объектов являются наши органы чувств, фиксация их существования научными приборами, то каковы критерии существования нефизических объектов?

Соображения такого рода высказывали в своих работах У.Куайн («О том, что есть»), Б.Рассел («Об обозначении»), сторонники двухплоскостной семантики и т. п.

Для сторонников реалистской интерпретации «пустых» имен вопрос об онтологическом статусе объектов, обозначаемых этими именами, оказывается самым сложным, поскольку порождает нетривиальную задачу построения соответствующей семантики и онтологии. Трудности и неясности, встающие на пути создания такой онтологии, ее контринтуитивность, признаваемая практически всеми сторонниками антиреализма, являются основаниями для признания невозможности ее построения.

## 2. Эпистемологическое основание

Вторая проблема, связанная с признанием за «пустыми» именами референтов, также связана с истинностной оценкой высказываний, содержащих эти имена. Как известно, согласно класси-



ческой теории истины, предложение считается истинным тогда, когда утверждаемое в нем соответствует действительности<sup>14</sup>. Когда же мы имеем дело с высказываниями, содержащими «пустые» имена, то ввиду того, что эти термины не обозначают ничего в реальном мире, получается, что сказанное в предложении не может соответствовать действительности в принципе. При таком понимании установления истинностного значения предложения с пустыми именами не могут его иметь, что также служит основанием для отказа от того, что такие имена могут иметь референты – некие несуществующие в реальности объекты.

Сегодня большинство философов-аналитиков считают предложения с «пустыми» именами ложными или не имеющими истинностного значения, некоторые философы рассматривают их как истинные в рамках определенного контекста, presupпозиции и т. п. Данные стратегии будут рассмотрены далее.

### 3. Логические основания

В работе «On denoting» Бертран Рассел впервые обратил внимание на то, что высказывания о несуществующем нарушают законы логики.

Во-первых, такие высказывания нарушают закон исключенного третьего, согласно которому относительно любого утверждения верно либо оно само, либо его отрицание. Между тем, если мы рассмотрим высказывания «Нынешний король Франции лыс» и «Нынешний король Франции не лыс», то увидим, что оба они будут ложными. Пробегая по всему универсуму существующих объектов, которые являются лысыми или не являются таковыми, мы не обнаруживаем там нынешнего короля Франции. Таким образом, нарушается принцип исключенного третьего.

Кроме того, согласно Б. Расселу, высказывания о таких объектах нарушают закон непротиворечия. Рассматривая классический пример, приводимый в работах А. Майнонга, – круглый квадрат, мы получаем, что круглый квадрат кругл, но в то же время из его квадратности следует то, что он не кругл. Таким образом, круглый квадрат одновременно кругл и не кругл, что является противоречием.

С точки зрения Б. Рассела, нарушение высказываниями о несуществующем принципов классической логики является основанием для того, чтобы считать имена, которые не обозначают ничего в реальном мире, псевдоименами.

Сегодня логические затруднения, связанные с принятием имен, обозначающих несуществующие объекты, не являются серьезным аргументом для отказа от этих выражений. Для того чтобы говорить о несуществующем, могут быть построены специальные логики, в которых не выполняются те или иные принципы классической, например законы непротиворечия, исключенного третьего и другие.

Итак, я коротко рассмотрела три основные проблемы, выделяемые философами-аналитиками в связи с использованием в языке «пустых» имен. Теперь обратимся к истории антиреалистской позиции и того, каким образом она заняла лидирующее положение в современной философии языка.

Взгляды логика и философа Готлоба Фреге, вне всякого сомнения, оказали огромное влияние на последующую аналитическую философию. Можно сказать, что все философы, строившие свои теории значения, соотносили их со взглядами Фреге, усиливали или ослабляли те или иные его положения, критиковали или, напротив, отталкивались от его взглядов в своих собственных построениях. И именно в работах Фреге впервые появляется идея, что выражение языка является подлинным именем только в том случае, если оно обозначает существующий объект.

Фреге признает, что некоторые имена<sup>15</sup> могут не иметь значения, а только смысл, но при этом считаться именами наравне с теми выражениями, которые имеют значение: «Быть может, следует признать, что всякое грамматически правильно построенное выражение, выполняющее роль собственного имени, всегда имеет смысл. Однако это не значит, что смыслу всегда соответствует некоторое значение. Слова “самое удаленное от Земли небесное тело” имеют некий смысл, однако весьма сомнительно, чтобы они имели значение»<sup>16</sup>. Таким образом, Фреге признает, что выражения, имеющие форму собственного имени, но не имеющие значения, являются именами. Между тем, высказывания с такими именами не являются ни истинными, ни ложными, так как нечто может предципироваться только существующей сущности, то есть

истинностное значение будут иметь только предложения, в состав которых входит имя, имеющее значение: «Предложение “Одиссей был высажен на берег Итаки крепко спящим”, очевидно, имеет смысл. Но так как весьма сомнительно, чтобы встречающееся в нем имя “Одиссей” имело значение, сомнительно также, чтобы и все предложение имело какое-то значение. Но одно несомненно: тот, кто всерьез считает это предложение истинным или ложным, будет также признавать за именем “Одиссей” некоторое значение, а не только один смысл; ибо предикат приписывается значению имени или отвергается относительно него. Тот, кто не признает значения, тот не может ни приписывать ему предиката, ни отвергать последний»<sup>17</sup>.

По сути, сохранение за выражениями, не имеющими значения, статуса имен в концепции Фреге носит условный характер, ведь мы не можем приписывать истинностное значение предложениям с этими именами, а значит, такие имена, которые не функционируют в языке полноценным образом, и не являются именами языка в подлинном смысле этого слова.

Именно эта линия в исследованиях Фреге получила дальнейшее развитие в последующей философской традиции. Бертран Рассел эксплицитно выразил идею, которая естественным образом следовала из концепции Фреге, но не была им четко сформулирована, а именно выделил подлинные и неподлинные имена.

Рассел обратил внимание на то, что существует ряд выражений в языке, грамматически имеющих форму имен и ошибочно (по его мнению) отождествляемых с ними, но при этом не имеющих значения. Это такие выражения, как «Одиссей», «Шерлок Холмс» и т. д. Вводящая в заблуждение грамматическая форма этих выражений порождает противоречивость высказываний с ними, поэтому эти имена не могут быть подлинными.

С точки зрения Фреге, предложения с подобными именами не могли оцениваться как истинные или ложные, поэтому было бы последовательно сделать вывод, аналогичный расселовскому, но принимаемое Фреге наличие смысла удерживало его от этого заключения. Рассел же считал категорию смысла излишней, поскольку имена в подлинном смысле этого слова, с его точки зрения, употребляются для обозначения тех объектов, с которыми произносящий имя имеет непосредственное знакомство: «имя в узком логическом

смысле слова, значением которого является индивид, может быть приложимо только к тому индивиду, с которым говорящий знаком, поскольку вы не можете именовать ничего такого, с чем не были бы знакомы»<sup>18</sup>. «...Очень затруднительно привести вообще какой-либо пример имени в собственном, строго логическом смысле слова. “Это” или “то” – единственные слова, используемые как имена в логическом смысле... Имена, как “Сократ”, которые мы обычно употребляем, на самом деле являются сокращениями дескрипций... Мы не знакомы с Сократом и, стало быть, не можем именовать его»<sup>19</sup>. Таким образом, подлинные имена не имеют смысла, поскольку прикрепляются к своим объектам подобно биркам, и именование происходит как непосредственное указание на объект подобно тому, как Адам давал имена зверям в райском саду, указывая на них, когда они появлялись в его непосредственном круге зрения. Поэтому «чтобы понять имя индивида, надо только быть с ним знакомым. Знакомясь с индивидом, вы достигаете полного, адекватного и завершенного понимания имени, и больше информации не требуется»<sup>20</sup>. То есть не требуется смысла, поскольку при непосредственном знакомстве достаточно значения, на которое указывает бирка.

Остальные выражения, функционирующие как имена, со значениями которых мы не имеем непосредственного знакомства, являются сокращенными дескрипциями. При анализе высказываний с этими выражениями они заменялись на дескрипции, что позволяло устранить вводящую в заблуждение грамматическую форму псевдоимен и решить проблему с теми псевдоименами, которые ничего не обозначают. Предложения с такими сокращенными дескрипциями, как «Сократ», относящимися к физическим объектам, могли быть истинными или ложными, в то время как предложения с именами, не имеющими значения, всегда оказывались ложными.

Идея о подлинных именах, прикрепляемых к своим объектам подобно биркам, была воспринята американскими философами-аналитиками, являющимися сторонниками теории прямой референции<sup>21</sup>. Они распространили принцип функционирования подлинных имен Рассела на все имена в принципе. Сторонники этой концепции принимали два тезиса:

– собственные имена функционируют как бирки (или жесткие десигнаторы);

– бирки (или десигнаторы) прикрепляются только к тому, что существует.

Данные положения делали невозможным разговор о несуществующем, так как бирки могут прикрепляться только к существующему. Таким образом, имена несуществующих объектов ничего не обозначают, а предложения с ними оказываются бессмысленными.

Тем не менее, как уже говорилось, перед каждым философом-аналитиком, который занимался теорией референции, вставала задача объяснить употребление «пустых» имен в языке. Рассмотрим, какие решения данной проблемы предлагают философы-антиреалисты.

### **III. Антиреалистские трактовки «пустых» имен**

На мой взгляд, подходы, используемые в рамках антиреалистской интерпретации «пустых» имен, можно разделить на две основные группы по критерию применения семантических и прагматических инструментов для анализа высказываний с «пустыми» именами.

Согласно подходам, которые я отношу к первой группе, и «пустые» имена либо элиминируются из области семантики, их использование не подвергается дальнейшему изучению и анализу (Б. Рассел и У. Куайн), либо рассматриваются в рамках того или иного контекста. В последнем случае их референция и истинностное значение предложений с ними релятивизируется относительно данного контекста, то есть, строится своего рода контекстуальная семантика таких имен (Р. М. Сэинсбери, Е. Ледников). При этом мы можем, как это делает Р. М. Сэинсбери, признавать наличие некоторого первичного контекста, в котором данные имена ничего не обозначают, либо утверждать, что абсолютно все выражения языка имеют значение только в рамках тех или иных контекстов, как полагает Е. Ледников.

Ко второй группе, на мой взгляд, можно отнести подходы, которые используют прагматические инструменты для объяснения употребления «пустых» имен. Сторонники прагматического объяснения, так же как сторонники первого подхода, полагают, что «пустые» имена не могут иметь какого бы то ни было семантиче-

ского содержания. Успешное использование таких имен в коммуникации они объясняют при помощи прагматики языка: импликатур, пресуппозиций, языковых игр и т. п.

## **1. Устранение из семантики или введение контекста**

### **а. Перефразирование предложений с пустыми именами**

Стратегия перефразирования предложений с «пустыми» именами в различных формах сегодня активно используется философами по отношению к тем предложениям, которые представляются им истинными, но при этом имеют нежелательные онтологические следствия. В таком случае философы стремятся избежать нежелательной онтологии, предполагаемой «пустыми» именами, при этом сохраняя информативность и истинность предложений с ними посредством перефразирования предложения. Они заменяют исходное предложение на другое, эквивалентное первому по условиям истинности, которое не содержит соотнесения с нежелательными онтологическими сущностями. При этом одинаковые условия истинности исходного предложения и преобразованного являются гарантом того, что онтологии, предполагаемой вторым предложением, вполне достаточно для истинности первого и введение дополнительной онтологии несуществующих объектов оказывается для этого излишним.

Например, мы столкнулись с высказыванием «Существуют вымышленные герои». Для того чтобы избежать введения такого объекта, как вымышленный герой, мы можем перефразировать высказывание следующим образом: «В некоторых художественных произведениях описываются особые герои». Аналогичным образом можно перефразировать предложение «Шерлок Холмс был сыщиком», заменив его на «Согласно рассказам К.Дойла, Шерлок Холмс был сыщиком». В обоих случаях второе предложение не отсылает нас к онтологии вымышленных объектов и сообщает ту же самую информацию, что и первое. Как мы видим из приведенных примеров, перефразирование предложений с «пустыми» именами помещает их в рамки определенного контекста. Соответственно, истинностная оценка таких предложений также будет релятивизи-

роваться относительно такого рода контекстов. В том случае, если мы рассматриваем данные предложения вне соответствующего контекста, они, в зависимости от подхода, будут трактоваться как ложные или лишенные истинностного значения.

Стратегия перефразирования может рассматриваться как введение оператора вымысла – согласно истории/роману *P*, выполняется *p*. Оператор вымысла вводит определенный контекст и указывает на то, что предложение рассматривается не буквально, а в рамках данного контекста.

Среди российских исследователей на необходимость интерпретации высказываний в рамках того или иного контекста обратил внимание Е.Ледников. С его точки зрения, вопрос о существовании того или иного рода объектов связан с выбором языковой системы, в рамках которой мы говорим о данных объектах<sup>22</sup>. Е.Ледников полагает, что экзистенциальные высказывания могут интерпретироваться как истинные или ложные только в рамках определенного контекста, например: «из математики известно, что», «из литературы известно, что» и т. п. Таким образом, Е.Ледников вслед за Р.Карнапом отказывается от «внешнего» вопроса о существовании объекта и полагает, что достаточно ответа на «внутренний» вопрос.

Существуют некоторые высказывания, которые могут представлять проблему для контекстуальной интерпретации высказываний о несуществующем. Например, рассмотрим высказывание:

«Анна Каренина умнее Эммы Бовари».

В данном случае мы имеем дело с несколькими вымышленными контекстами, и кажется, что стратегия перефразирования или введения оператора вымысла оказывается здесь неприменимой.

Р.М.Сэинсбери предлагает отдельную стратегию для случаев, когда мы сталкиваемся с более чем одним вымышленным контекстом. Он предлагает объединить операторы вымысла. Как показания одного свидетеля дополняют показания другого, соединяясь в целостную картину, так и операторы вымысла могут соединяться, позволяя нам говорить об отношениях между вымышленными объектами. При этом можно также ввести операторы-значения, отображающие степень выраженности того или иного признака, относительно которого происходит сравнение двух вымышленных персонажей.

Итак, рассмотрим предложение «Анна Каренина умнее Эммы Бовари». Данное высказывание, утверждает Сэинсбери, можно интерпретировать следующим образом:

«Согласно “Анне Карениной” и “Мадам Бовари”, для некоторых уровней интеллекта,  $I$  и  $j$ , таких что  $I > j$ , согласно роману Толстого, уровень Анны был  $I$ , а уровень Эммы Бовари был  $j$ ».

При этом, полагает Сэинсбери, нам вовсе не обязательно приписывать точные количественные значения этим признакам вымышленных объектов, вполне достаточно и примерного знания выраженности этих признаков.

### **б. Замена предложений с пустыми именами**

В том случае, когда не обязательно рассматривать предложение с пустым термином как истинное, философы и логики используют стратегию замены. В отличие от предыдущего подхода в данном случае нет обязательного требования, чтобы то предложение, на которое заменяется первое, имело одни и те же условия истинности с исходным предложением. Преобразованное предложение может уточнять исходное, прояснять его подлинный смысл, который вкладывался в него говорящим, и т. п. Единственное условие состоит в том, чтобы новое предложение выполняло те же самые функции, что и предложение, которое было на него заменено. Например, предложения «Пегас не существует» и «Не существует такого  $x$ , который является Пегасом» имеют разные условия истинности, но второе может служить заменой первого, которая позволяет избежать допущения существования Пегаса.

Впервые эта стратегия была использована Б. Расселом, который посредством нее хотел очистить язык от псевдоимен и избавить его от противоречивых высказываний с этими именами.

В своей работе «Философия логического атомизма» и «On denoting» Рассел указывает на ряд проблем, связанных с употреблением определенных дескрипций и «пустых» имен. В «Философии логического атомизма» в качестве примера он рассматривает отрицательное экзистенциальное высказывание «Ромул не существовал». Если мы считаем «Ромул» именем, то его референт, согласно Расселу, является конститuentой высказывания (Рассел



отождествляет конститuentу высказывания с конститuentой соответствующего факта.) В то же время, имея Ромула в качестве конститuentу данного высказывания, мы утверждаем не существование этой сущности, поэтому в конечном счете наше высказывание оказывается внутренне противоречивым, относительно него нельзя говорить не только о его истинности, но и об осмысленности. Аналогичные затруднения возникают в связи со всеми отрицательными экзистенциальными высказываниями. В работе «On denoting» Рассел также указывает на то, что высказывания с определенными дескрипциями, которые ничего не обозначают, нарушают законы логики (об этом было упомянуто выше). Вывод, который делает Рассел, – данные языковые выражения не являются подлинными именами, на самом деле они представляют собой сокращенную дескрипцию. Дескрипция представляет собой составное выражение, в котором перечисляются сущностные свойства предмета. При этом сам предмет, представляемый в виде своих сущностных признаков, устраняется, перестает быть целостным объектом, а значит, исчезает и проблема соотношения его с элементами внешнего мира. Предикатам, являющимся элементами дескрипции, всегда будут соответствовать некоторые элементы реальности, поэтому соответствие высказываний и фактов будет сохраняться. Такой анализ высказываний также решит все логические затруднения, поскольку позволит корректно устанавливать истинностное значение данных высказываний.

Как следует правильно распознавать и анализировать дескрипции, Рассел наглядно поясняет на примере выражения «нынешний король Франции». В анализе Рассела это высказывание будет выглядеть следующим образом «Существует  $x$  такой, что  $x$  является нынешним королем Франции и  $x$  является лысым». Здесь, как мы видим, нынешний король Франции не является конститuentой. Ввиду наличия конъюнкта, утверждающего существование объекта, высказывания с «пустыми» именами всегда будут ложными. Получается, что вне зависимости от содержания утверждения оно будет всегда оцениваться как ложное.

Расселовскую теорию дескрипции напоминает и предложенный У.Куаном способ рассмотрения имен. Куайн предлагает рассматривать имена как общие термины во избежание проблем с теми именами, которые ничего не обозначают. Например, предложение

«Пегас существует» будет заменяться на «(∃x)(x есть Пегас)»<sup>23</sup>. При таком переводе становится очевидным, что данное предложение ложно и не может быть истинным. В работе «Слово и объект» Куайн широко использует стратегию замены и перефразирования, применяя ее не только для решения затруднений с «пустыми» именами, но и для анализа двусмысленных и неясных высказываний.

## 2. Прагматические подходы

### а. Апелляция к пресуппозициям

Одним из важных понятий, применяемых для анализа предложений с «пустыми» именами, является понятие пресуппозиции (презумпции, допущения). В самом общем виде пресуппозиция представляет собой подразумеваемое содержание, которое представляется само собой разумеющимся при произнесении того или иного высказывания.

Например, мы утверждаем «Иван перестал курить». В основе этого предложения лежит пресуппозиция, что Иван курил ранее.

В данном случае, согласно классификации видов пресуппозиций у Е.В.Падучевой<sup>24</sup>, мы имеем дело с презумпцией в толковании слов: глагол «начать» предполагает отсутствие данного действия до момента его совершения, глагол «бросить», напротив, совершение действия до его окончания и т. п. К данному типу презумпций относятся и пресуппозиции, сопутствующие употреблению частиц «опять», «даже», «почти» и т. д.

Кроме того, существуют иные виды пресуппозиций:

– Фактивные пресуппозиции сопутствуют предложениям, содержащим глаголы «знает», «сожалеет», «рад» и т. п., которые вводят придаточное предложение. Такие предложения имеют пресуппозицию истинности суждения, выражаемого придаточным предложением. Например, предложение «Иван огорчен, что болен» имеет пресуппозицию «Иван болен».

– Экзистенциальные пресуппозиции связаны с употреблением в предложении имени собственного или определенной дескрипции. Употребляя то или иное выражение, относящееся к единичному объекту, мы тем подразумеваем существование этого

объекта. Именно данный вид пресуппозиций связан с анализом предложений с «пустыми» именами, на их рассмотрении я и сосредоточусь далее.

Рассмотрим, каким образом понимались экзистенциальные пресуппозиций, их роль в семантике и то, какое значение они играют в анализе выражений с «пустыми» именами.

Впервые понятие пресуппозиции было введено Фреге. В работах философа данное понятие понималось достаточно узко, поскольку он рассматривал лишь пресуппозиции, связанные с употреблением имен и дескрипций, а именно пресуппозиции существования. В частности, он пишет: «Когда мы нечто утверждаем, то, разумеется, всегда предполагаем, что употребляемые нами простые или сложные собственные имена имеют значение»<sup>25</sup>. Если же данная презумпция нарушается и имя не имеет денотата, то предложение также не имеет денотата. Таким образом, для Фреге соблюдение презумпции выступает гарантом наличия значения для предложения. При таком понимании пресуппозиции играют важную роль в семантике, являясь условием наличия или отсутствия значения предложения. В связи с этим данное поминание пресуппозиций называют семантическим. Согласно такому представлению о пресуппозициях, те или иные выражения, содержащиеся в предложении, предполагают некоторое скрытое подразумеваемое содержание. Например, при употреблении имен или дескрипций структура предложения предполагает существование объекта, о котором идет речь, в случае употребления глагола «знать, что» предполагается истинность придаточного предложения и т. п.

Аналогичным образом понимал природу пресуппозиций П.Ф.Строссон, полемизировавший с Б.Расселом, который пытался включить экзистенциальную пресуппозицию в состав содержания предложения<sup>26</sup>. С точки зрения Строссона, высказывая утверждение «Король Франции мудр» мы *предполагаем* существование короля Франции, но никак не *утверждаем* его: «To say, “The king of France is wise” is, in some sense of “imply”, to imply that there is a king of France. But this is a very special and odd sense of “imply”. “Implies” in this sense is certainly not equivalent to “entails” (or “logically implies”))»<sup>27</sup>. В том случае, когда пресуппозиция существования данного объекта нарушается, мы имеем дело с ненастоящим употреблением данного имени, ошибкой коммуникации, поэтому вопрос, ложно

или истинно данное предложение, не встает вообще. В отличие от Рассела, у которого предложение «Король Франции мудр» оказывается ложным в силу ложности входящего в его состав экзистенциального высказывания, Строссон подчеркивает, что такие предложения должны считаться лишенными истинностного значения: «when, in response to his statement, we say (as we should) “There is no king of France”, we should certainly not say we were contradicting the statement that the king of France is wise. We are certainly not saying that it's false. We are, rather, giving a reason for saying that the question of whether it's true or false simply doesn't arise»<sup>28</sup>.

Таким же мнимым употреблением считает Строссон употребление имен вымышленных персонажей в художественном тексте. С его точки зрения, такие высказывания не могут оцениваться как истинные или ложные, поскольку изначально не употребляются как относящиеся к какому-либо предмету.

Впоследствии понятие семантической пресуппозиции, введенное Фреге и Строссоном, получило формальное определение: «Семантический компонент Р суждения S является пресуппозицией S, если ложность Р в некоторой ситуации делает утверждение S в этой ситуации неуместным, аномальным, бессмысленным»<sup>29</sup>.

Важнейшими свойствами семантических пресуппозиций, согласно Е.В.Падучевой, являются:

– отличие пресуппозиций от следствий предложения. Если отношение следования подчиняется закону контрапозиции, то в случае ложности презумпции Р суждение S оказывается не ложным, а лишенным истинностного значения;

– сохранение пресуппозиции при отрицании высказывания. Например, рассмотрим следующие два предложения:

«Мэри рада, что Джон провалился на экзаменах»,

«Мэри не рада, что Джон провалился на экзаменах».

В основе обоих предложений S и не-S лежит пресуппозиция, что Джон провалился на экзаменах.

– Свойство пресуппозиций не подвергаться действию никаких подчиняющих операторов, применяемых к предложению.

В частности, предложение «Василий тоже приехал» имеет пресуппозицию, что приехал кто-то еще помимо Василия. Если мы подвергнем это предложение действию оператора «я рада что», то презумпция предложения «Я рада, что Василий тоже приехал» сохранится прежней: «Василий тоже приехал».

Концепция семантических пресуппозиций вызвала критику со стороны тех философов, которые выступали против рассмотрения пресуппозиций как особого явления в семантике и предлагали альтернативное прагматическое понимание пресуппозиций (Stalnaker, Gazdar, Sellars, Shmerling и другие). С их точки зрения, концепция семантических пресуппозиций сталкивается с рядом проблем, которые невозможно решить средствами данной концепции, а прагматический подход к пресуппозициям оказывается более эффективным в решении данных трудностей<sup>30</sup>.

Если семантическая пресуппозиция связана с содержанием самого предложения, то прагматическая пресуппозиция отсылает нас к знаниям слушающего. Прагматическая пресуппозиция представляет собой суждение, которое должно быть известно слушающему, чтобы высказывание было нормативным в данном контексте. Согласно Портнеру, она представляет собой условие того, является ли высказывание, имеющее данную пресуппозицию, корректным в данном контексте. С понятием прагматической пресуппозиции связано понятие общего основания диалога (*common ground*). Общая основа диалога – те пропозиции в разговоре, которые принимаются говорящими. В этом смысле прагматическая пресуппозиция высказывания должна входить в общее основание диалога, чтобы употребление предложения в данной ситуации было корректным.

При этом если семантическая пресуппозиция должна быть истинным суждением, поскольку является условием наличия семантического значения у предложения, то требование истинности для прагматической пресуппозиции необязательно, поскольку она не имеет отношения к семантике и ее ложность не делает высказывание аномальным. Поэтому суждение, выражающее прагматическую презумпцию, представляет собой неутверждаемое суждение с нейтральным денотативным статусом.

Благодаря этой нейтральности в рамках прагматического подхода к пресуппозициям решаются трудности, с которыми сталкивается семантическая концепция пресуппозиций при интерпретации некоторых высказываний. В частности, в рамках прагматического подхода отсутствует требование истинности придаточных предложений, вводимых конструкциями вида «знаю, что». Кроме того, экзистенциальные пресуппозиции могут рассматриваться как суждения, не имеющие денотативного статуса.

Ярким примером использования такого подхода при интерпретации высказываний с «пустыми» именами является предложенная Р.М.Сэинсбери интерпретация высказываний о вымысле<sup>31</sup>. Философ утверждает, что мы можем высказывать утверждения о вымышленных героях, не считая пресуппозицию их существования истинной. Мы просто принимаем это допущение для целей коммуникации. Мы принимаем, что эти высказывания истинны в том случае, если бы пресуппозиция существования оказалась истинной. Для этого Сэинсбери использует понятие относительной истины. Высказывание «Шерлок Холмс любил играть на скрипке» может рассматриваться как относительно истинное – в том случае, если бы пресуппозиция о существовании Холмса или о том, что написанное в романе К.Дойла верно, была истинной. При этом мы можем считать данную пресуппозицию ложной, и в таком случае, в буквальном смысле, данное высказывание оказывается ложным. Тем не менее это не мешает нам осуществлять эффективную коммуникацию, обмениваться впечатлениями о героях художественного произведения и о событиях, которые с ними происходят.

Такой подход дает философу возможность избежать онтологии несуществующих объектов и считать высказывания о таких объектах относительно истинными. Любое предложение о Холмсе, которое мы считаем интуитивно истинным, с точки зрения данной стратегии, будет истинным в рамках некоторого допущения: например, предложение «Холмс жил на Бейкер-стрит» оказывается истинным, если бы были истинными рассказы о Холмсе.

Есть ряд предложений о вымысле, которые выходят за контекст вымышленного произведения и не могут рассматриваться в рамках пресуппозиции существования реального человека, описываемого в вымышленном произведении. Кажется, что такие предложения не могут интерпретироваться при помощи данной стратегии. В частности, рассмотрим предложение «Шерлок Холмс – сыщик, который гораздо умнее любого сыщика, существующего в реальности».

Действительно, в данном предложении речь идет не о реальном человеке Шерлоке Холмсе в контексте произведения К.Дойла, а о вымышленном литературном персонаже. Однако, полагает Р.М.Сэинсбери, данное предложение также можно рассматривать в рамках пресуппозиции – но не пресуппозиции существования

Холмса, а в рамках пресуппозиции, что существует устойчивый вымышленный объект – Холмс. Тогда предложение будет ложным в буквальном смысле, но истинным в рамках принимаемого допущения. Аналогичным образом будут рассматриваться все предложения, в которых утверждается принадлежность персонажа Холмса реальности. Например, «Холмс – вымышленный герой», «Холмс – самый известный персонаж детективных романов XX в.» и т. п. Все они будут истинными в рамках презумпции существования устойчивого вымышленного героя и ложными в буквальном смысле.

#### **б. Обращение к когнитивному значению и имплицатуре высказывания**

Данная стратегия также используется с целью восполнения отсутствующего семантического содержания «пустых» имен прагматическими элементами. Если в буквальном смысле высказывания с «пустыми» именами либо не имеют пропозиционального содержания, либо обозначают незаполненную пропозицию, обычное словоупотребление объясняется когнитивным значением «пустых» имен и имплицатурами высказывания<sup>32</sup>.

Д.Браун объясняет успешное использование «пустых» имен в языке посредством когнитивного значения этих имен. По мнению Д.Брауна, помимо семантического содержания, имена и предложения могут иметь когнитивное значение, т. е. вызывать определенные ассоциации, ментальные состояния и изменения в мозге человека.

С его точки зрения, для сторонников прямой референции возможно два понимания семантического содержания предложений с «пустыми» именами: либо предложения с «пустыми» именами вообще не имеют пропозиционального содержания и истинного значения, либо обозначают незаполненную пропозицию.

В рамках первого подхода все предложения с «пустыми» именами не будут отличаться друг от друга с точки зрения семантики, так как у них отсутствует семантическое содержание.

Второй подход состоит в том, что предложения с «пустыми» именами обозначают незаполненные пропозиции. Пропозиция имеет некоторую структуру, подобную ячейкам, которые впоследствии заполняются конституентами и отношениями между ними.

Предложение выполняет две функции по отношению к пропозициям: оно задает структуру пропозиции и задает семантические значения, которые нанизываются на эту структуру. Если структура пропозиции и значения, ее наполняющие, – отдельные сущности, то вполне можно предположить, что не все структурные единицы пропозиции должны быть заполнены или что предложение может задать лишь структуру пропозиции, но не ее семантическое наполнение. Предложения, содержащие пустые имена, и будут такими предложениями – с не до конца заполненной структурой. Более того, такие предложения будут иметь истинностное значение, поскольку они очень близки к обычным пропозициям и так же выражают истину или ложь о мире. Этот взгляд Д.Браун назвал концепцией незаполненных пропозиций.

Допустим, структура пропозиции предполагает субъект и предикат. Если позиция субъекта заполнена и субъект экземплифицирует свойство, приписываемое предикатом, то пропозиция истинна. Если же на месте субъекта стоит пустое имя, то она ложна. То есть предложение «Пегас летающая лошадь» ложно, так как место субъекта в пропозиции не занято. Отрицательные экзистенциальные пропозиции, где место субъекта не занято, являются безусловно истинными.

Очевидным плюсом такого взгляда по сравнению с первым является то, что предложения «Пегас летающая лошадь» и «Кентавр Хирон мудр» будут обозначать различные пропозиции. Минус заключается в том, что многие предложения будут выражать одну и ту же незаполненную пропозицию, – все отрицательные экзистенциальные высказывания и предложения вида «Пегас летающая лошадь» и «Кентавр Хирон летающая лошадь».

Общий недостаток обоих подходов, очевидно, заключается в том, что они неспособны объяснить, каким образом мы можем осуществлять коммуникацию и использовать «пустые» имена в языке.

По мнению Д.Брауна, использование понятия когнитивного значения позволяет нам объяснить употребление «пустых» имен, не отказываясь ни от первого, ни от второго взгляда на семантическое содержание предложений с данными именами.

В том случае, если мы считаем, что предложения с «пустыми» именами не имеют какого бы то ни было семантического содержания, их использование полностью объясняется при помощи прагматики. Благодаря своему когнитивному значению предложе-



ние с «пустым» именем получает осмысленность в сознании говорящего, даже когда ментальной репрезентации индивида не соответствует какое бы то ни было семантическое содержание. Что касается истинности предложений с «пустыми» именами, то мы можем считать их истинными, поскольку считаем истинными ряд следствий, вытекающих из высказываний с «пустыми» именами, которые имеют пропозициональное содержание и оказываются истинными. Например, из высказывания «Пегас не существует» следует ряд предложений, имеющих пропозициональное содержание: «Только птицы имеют крылья», «Имя “Пегас” не имеет референта» и т. п. Совокупность истинных следствий приравнивается к высказыванию, содержащему пустой термин, поэтому мы считаем последнее высказывание истинным, хотя оно не имеет семантического содержания и истинностного значения.

Расхождения подхода незаполненных пропозиций с обыденным использованием «пустых» имен также восполняются посредством прагматики: высказывания, обозначающие одну и ту же пропозицию, позволяют различать особое когнитивное значение каждого предложения.

Аналогичные рассуждения можно встретить у М.С.Гриина (M.S.Green)<sup>33</sup>, в работе которого освещается возможность объяснения когнитивного значения «пустых» имен при помощи имплицатуры высказывания.

Понятие имплицатуры было введено и разрабатывалось в работах Г.П.Грайса<sup>34</sup>. Философ отличает буквально сказанное в предложении, т. е. семантическое содержание данного высказывания, и то, что только подразумевается. Согласно Грайсу, предложение S подразумевает некоторую пропозицию p, которая является имплицатом S. Отношение между высказыванием S и тем, что оно подразумевает, называется имплицатурой.

Грайс выделял два вида имплицатур: имплицатуры дискурса и конвенциональные имплицатуры. Конвенциональные имплицатуры связаны со значением слов и структурой предложения. Несмотря на то, что конвенциональные имплицатуры вытекают из значения слов в предложении, их нельзя отождествлять со следствиями предложения. Часто то, что логически следует из содержания предложения, может отличаться от подразумеваемого в высказывании лингвистически.

Можно проиллюстрировать это следующим примером:

А) Джон англичанин, но он труслив.

Б) Джон англичанин и он труслив.

В) Быть трусливым неожиданно в свете того, что он англичанин.

Предложение А подразумевает В. Предложения А и Б имеют одно и то же пропозициональное содержание, но при этом А отличается от Б тем, что подразумевает между строк В. При этом предложение В логически не следует из А и, кроме того, В может быть ложным, а А все равно останется истинным.

В отличие от конвенциональных импликатур, импликатуры дискурса порождаются не структурой языка и значением конкретных слов, а основываются на принципах успешного ведения диалога и допущениях, принимаемых в диалоге.

Согласно Грайсу, наше общение подчиняется так называемому принципу кооперации, смысл которого заключается в том, что целью коммуникации является достижение взаимопонимания. Для того чтобы достичь этой цели, говорящие должны соблюдать в своих высказываниях четыре максимы: релевантности, информативности, истинности и краткости. Применение импликатур дискурса основывается на данных принципах: во время ведения диалога говорящие соблюдают данные принципы и предполагают, что остальные участники диалога также их придерживаются. Посредством этого они могут выявлять скрытые импликатуры и использовать их сами. Характерный пример можно привести в связи с использованием слова «некоторые». Если с точки зрения логики употребление в предложении выражения «некоторые» предполагает, что речь идет о некоторых, а быть может, и обо всех предметах из данного универсума, то лингвистически предложение со словом «некоторые» будет иметь импликатуру, что речь идет именно о некоторых предметах, но не обо всех. В противном случае говорящий, руководствующийся максимами информативности и краткости, сообщил бы, что он имеет в виду все, а не некоторые предметы данного универсума. Данный пример также иллюстрирует отличие данного типа импликатур от логических следствий предложения.

В философской литературе импликатуры часто сблизаются с пресуппозициями. Некоторые авторы пытаются отождествлять их, некоторые проводят четкое разграничение. В частности, отмечает Е.В.Падучева, различие импликатур и пресуппозиций заключается

в том, что пресуппозиции (как семантические, так и прагматические) основываются на значении слов и конструкции предложения, а импликатуры дискурса порождаются совокупностью семантического значения, контекстуальных допущений и выполнением коммуникативных постулатов, которые вытекают из общих условий успешности коммуникации и не связаны с конвенциональными свойствами конкретных языков<sup>35</sup>.

Однако прагматические пресуппозиции часто пытаются отождествить с импликатурами дискурса. В частности J. Atlas, R. Kempson, V. Abbott и другие отстаивают идею, что пресуппозиции так же, как и импликатуры, подчиняются максимам успешной коммуникации.

П. Портнер называет еще одно отличие пресуппозиций и импликатур<sup>36</sup>. Он различает прагматическое содержание, которое предшествует семантическому содержанию предложения, и прагматическое содержание, которое вытекает из семантического. В этом смысле пресуппозиции как начальное допущение, являющиеся условием корректного использования высказывания, относятся к первой группе прагматического содержания высказываний. А импликатуры, которые более близки к следствиям высказывания, относятся к прагматическому содержанию, которое следует за семантическим. Однако, на мой взгляд, данный критерий также является спорным применительно к экзистенциальным пресуппозициям и конвенциональным импликатурам, подразумевающим наличие у имени референта. Данные типы пресуппозиций и импликатур, действительно, сближаются друг с другом.

Теперь перейдем к конкретным способам объяснения употребления «пустых» имен в высказываниях при помощи понятия импликатуры.

В статье М.С. Гриина описываются способы использования конвенциональных импликатур и импликатур дискурса для объяснения употребления в коммуникации «пустых» имен.

Если мы обращаемся к импликатуре дискурса, то успешное использование в языке «пустых» имен объясняется тем, что при употреблении имен говорящие всегда ассоциируют с ними некоторые сведения, которые релевантны целям диалога, в котором они принимают участие. Эти ассоциируемые с именем сведения и являются импликатурой высказываний, в которых мы употребляем данное имя.

В определенных контекстах для успешного осуществления коммуникации ассоциируемые с именем сведения дополняют буквальное семантическое содержание высказываний с «пустыми» именами, а именно неполную пропозицию. За счет импликатуры достигается понимание того, что имеет в виду говорящий и как следует реагировать на данное высказывание. Таким образом, мы можем успешно использовать «пустые» имена в диалоге, несмотря на то, что они не имеют семантического значения, а предложения с ними в буквальном смысле не имеют истинностного значения или являются ложными.

Конвенциональная импликатура предложения, содержащего имя собственное, заключается в том, что при употреблении имени мы предполагаем, что оно имеет референт. Таким образом, использование «пустого» имени также прагматически предполагает существование референта данного имени. Наличие такой импликатуры может объяснить, почему говорящие считают, что высказывания с «пустыми» именами обозначают полную пропозицию, хотя знают, что такие имена не имеют значения. Дело в том, что говорящие часто смешивают конвенциональную импликатуру с буквальным значением. Кроме того, это также объясняет, почему говорящие считают, что высказывают разные вещи, произнося высказывания с различными пустыми именами, несмотря на то, что эти имена ничего не обозначают.

По мнению М.С.Гриина, объяснение употребления «пустых» имен как при помощи конвенциональной, так и импликатуры дискурса сталкиваются с трудностями. Эти трудности будут рассмотрены в заключительной части данной статьи.

## **в. Концепция языковой игры читателя и автора**

Данная стратегия используется некоторыми философами<sup>37</sup> для объяснения функционирования имен вымышленных объектов. Под вымышленными объектами понимаются объекты, описываемые в художественном произведении, кино, а также объекты скульптуры, иногда сюда причисляются объекты научных теорий и т. п.

Многие философы-аналитики склонны рассматривать утверждения, присутствующие в художественном произведении как часть некоей языковой игры, участниками которой являются автор и чита-

тели. Автор словно делает вид (pretend), что нечто обстоит тем или иным образом, а читатели, в свою очередь, делают вид, что допускают данное положение дел. Это позволяет давать истинностную оценку предложениям с «пустыми» именами в рамках языковой игры, а не в буквальном смысле, что, в свою очередь, дает возможность избежать введения онтологии несуществующих объектов. Некоторые авторы настаивают на употреблении глагола «make-believe» для обозначения данной языковой игры (Р.М.Сэинсбери, К.Вальтон), а некоторые употребляют глагол «to pretend» и «make-believe» как синонимы (Г.Эванс, Д.Льюис). Здесь я не буду вдаваться в различия в понятиях, поскольку терминология не влияет на главное условие языковой игры, принимаемой всеми философами. Оно состоит в интерактивном характере языковой игры автора и читателя: читатель принимает, что р, если в тексте говорится, что р. При этом он может заблуждаться, принимая, что р.

Границы «притворства» в языковой игре каждый философ устанавливает по-своему. Некоторые исследователи считают, что «притворными» оказываются сами утверждения в рамках этой игры (Дж. Сёрл, С.Шиффер), другие полагают, что «притворство» распространяется лишь на положение дел или соответствующие объекты, т. е. утверждая нечто, мы притворяемся, что описываемое положение дел или объекты имеют место (Р.М.Сэинсбери, Г.Эванс). В последнем случае утверждение не является мнимым утверждением, но его истинность оценивается в рамках принимаемого допущения (pretence). Г.Эванс полагает, что «притворной» может быть и сама референция, в то время как утверждение, содержащее «пустое» имя, может оцениваться как истинное или ложное буквальным образом.

Согласно точке зрения Сёрла и Шиффера<sup>38</sup>, языковая игра будет распространяться не только на непосредственное взаимодействие читателя с текстом, но и на все утверждения о вымысле в целом. Согласно Сёрлу, автор художественного произведения «*pretends to perform illocutionary acts which he is not in fact performing*»<sup>39</sup>. Точно так же, когда я обсуждаю с товарищем рассказы К.Дойла, и утверждаю «Холмс играл на скрипке», в действительности я лишь делаю вид, что утверждаю нечто (pretend to assert), поэтому, ввиду того, что утверждение не является настоящим утверждением, а лишь «притворным», сказанное мною не может оцениваться с позиций истинности или ложности.

Г.Эванс<sup>40</sup> полагает, что высказывания о вымышленных объектах являются частью языковой игры. Утверждая что-то об этих объектах, мы лишь делаем вид, что существуют некоторые предметы, описанные автором, в действительности же этих объектов не существует, они реальны лишь в пределах языковой игры. При этом с этой точки зрения высказывания, в отличие от позиции Сёрла и Шиффера, являются такими же выражениями языка, как и остальные. Истинность высказываний о вымысле оценивается в рамках языковой игры.

Используя понятие языковой игры, Эванс предлагает решить и проблему отрицательных экзистенциальных высказываний с «пустыми» именами. С его точки зрения, в данных высказываниях мы осуществляем мнимую референцию, т. е. лишь делаем вид, что обозначаем некий объект, в действительности делая это лишь в рамках представления (*pretence*). Это необходимо для того, чтобы в пределах языковой игры мы могли указать, несуществование какого именно объекта мы утверждаем. В данном случае языковая игра распространяется лишь на мнимую референцию, но не на все утверждение в целом, в противном случае оно было бы ложным.

#### **IV. Предварительный анализ антиреалистских стратегий**

Итак, я рассмотрела основные подходы сторонников антиреалистской интерпретации «пустых» имен.

Оппоненты и проponentы позиции наличия значения у «пустых» имен в действительности являются сторонниками или противниками возможности построения семантической теории такого рода имен. Философы, рассматриваемые в данной статье, сходятся во мнении, что построение семантики «пустых» имен не только невозможно, но и не нужно. Следуя сложившейся в аналитической философии традиции понимания семантической теории, которая, как и всякая научная теория, должна говорить о тех вещах, которые существуют, они не допускают мысли о возможности введения семантического содержания имен, которые обозначают заведомо несуществующие объекты. Построение такой семантики оказывается с их точки зрения тем более излишним, поскольку вопрос

о «пустых» именах может получить красивое и исчерпывающее решение либо в рамках прагматики языка, либо посредством введения контекстуальной семантики.

Если Г.Фреге и Б.Рассел, начавшие изгнание «пустых» имен из области семантики, занимались исключительно семантическими вопросами и не исследовали проблему того, каким образом мы понимаем друг друга и осуществляем коммуникацию, употребляя «пустые» имена, то более поздние аналитические философы озабочены этим вопросом. «Пустые» имена представляли угрозу для двухплоскостных семантических теорий, предполагавших, что языковое выражение может обозначать только нечто существующее. Наряду с этими опасениями современные философы-аналитики осознавали значимость проблемы «пустых» имен и необходимость объяснения функционирования данного типа имен в естественном языке. Подходы Рассела и Куайна, исключающие «пустые» имена из области семантики и не объясняющие их использование в языке, уже не удовлетворяли философов-аналитиков. Вследствие этого возник ряд подходов, которые пытались объяснить употребление данных имен в языке, избегая построения семантики «пустых» имен.

Попробуем, не касаясь вопроса о том, насколько возможно построение семантики таких имен, ответить на вопрос, возможно ли дать исчерпывающее решение проблеме «пустых» имен в рамках контекстуальной семантики и прагматики.

Начнем с рассмотрения высказываний с «пустыми» именами в рамках контекста. Кажется, что введение контекста, относительно которого релятивизируется наличие значения у «пустых» имен и истинность высказываний с ними, представляется удачным решением данной проблемы. Однако, как я уже упоминала, трудность возникает в связи с высказываниями, которые нельзя интерпретировать в рамках одного контекста. Для таких высказываний философ Р.М.Сэинсбери предлагает воспользоваться стратегией объединения операторов вымысла. При таком подходе высказывание «Анна Каренина умнее Эммы Бовари» интерпретируется как «Согласно “Анне Карениной” и “Мадам Бовари”, для некоторых уровней интеллекта,  $I$  и  $j$ , таких что  $I > j$ , согласно роману Толстого, уровень Анны был  $I$ , а уровень Эммы Бовари был  $j$ ». Как мы видим, перевод данного высказывания представляет собой до-

вольно громоздкую конструкцию, которая далека от первоначальной формы данного высказывания в естественном языке. Помимо операторов вымысла в данной интерпретации добавляются лишние кванторы и переменные, соответствующие уровням интеллекта, что не входило в содержание первоначального высказывания, в котором присутствовало только двухместное отношение умнее (x, y). Таким образом, данная интерпретация усложняет исходное предложение, включая в него дополнительные элементы, поэтому, на мой взгляд, можно сказать, что данный перевод не является удачным переводом исходного высказывания.

Перейдем к рассмотрению прагматических подходов к истолкованию «пустых» имен. Все прагматические концепции (концепция пресуппозиций, имплицатуры, когнитивного значения, языковой игры читателя и автора) утверждают, что предложения с «пустыми» именами не могут оцениваться как истинные в буквальном смысле. В том случае, если они истинны, они являются таковыми только в рамках языковой игры, пресуппозиции, в сознании говорящих и т. п. Таким образом, мы получаем, что огромный пласт языковых выражений переходит из области буквально сказанного в область подразумеваемого, что, на мой взгляд, уже является сомнительным.

Допустим, большинство предложений о вымысле, действительно, можно рассматривать в рамках языковой игры или пресуппозиции. Например, предложение «Шерлок Холмс сыщик» может рассматриваться в рамках пресуппозиции, что рассказы К.Дойла истинны или что Шерлок Холмс существует в реальности. Также мы можем считать, что, утверждая, что Шерлок Холмс был сыщиком, мы лишь «притворяемся», что утверждаем нечто или что определенное положение дел имеет место быть. В таком случае данное предложение, рассматриваемое в буквальном смысле, оказывается либо ложным, либо не имеющим истинностного значения, либо вообще не является утверждением.

Однако есть ряд предложений, где подобный подход является сомнительным. Например, рассмотрим предложение «Шерлок Холмс – сыщик, который гораздо умнее любого сыщика, существующего в реальности», которое выходит за рамки вымышленного контекста и говорит о некотором реальном вымышленном герое, который существует в нашей действительности, а не на страницах романа А.Конан Дойла.



Мне кажется, что в данном случае использование прагматической интерпретации данного высказывания оказывается излишним или некорректным. Посмотрим, какие интерпретации данного высказывания предлагают рассматриваемые философы. С точки зрения Р.М.Сэинсбери, данное предложение можно рассматривать в рамках пресуппозиции – но не той, что Холмс существует в действительности, а в рамках допущения, что существует устойчивый вымышленный объект – Холмс. Тогда предложение будет ложным в буквальном смысле, но истинным в рамках принимаемого допущения, то есть истинным в том случае, если бы пресуппозиция была истинной. (Напомню, что согласно прагматическому подходу к пресуппозициям, мы можем принимать определенную пресуппозицию, одновременно не признавая ее истинность.) Точно так же мы можем применить в данном случае концепцию языковой игры, согласно которой мы либо делаем мнимое утверждение, либо «притворяемся», что описываемое положение дел имеет место. Однако, на мой взгляд, если в первом случае, когда речь шла о существовании реального человека, описываемого в рассказах о Ш.Холмсе, мы действительно могли рассматривать высказывание в рамках языковой игры или в рамках пресуппозиции, не принимая того, что она истинна, то в данном случае такая интерпретация оказывается излишней или невозможной. Создается впечатление, что она преследует единственную цель – избежать нежелательной онтологии и необходимости построения семантики «пустых» имен.

Действительно, когда мы произносим предложение «Шерлок Холмс – сыщик» или «Шерлок Холмс любил играть на скрипке по ночам», буквально интерпретировать данные высказывания затруднительно, кажется, что, утверждая что-то о Холмсе, мы действительно принимаем участие в некоторой языковой игре, а именно: мы понимаем, что такого человека, как Шерлок Холмс, не существует и никогда не существовало в реальности, что это лишь вымышленный персонаж романа Конан Дойла. Поэтому мы можем считать, что данное высказывание является частью языковой игры, или рассматривать его в рамках пресуппозиции, которую мы не считаем истинной. Произнося высказывание «Шерлок Холмс сыщик», мы тем самым подразумеваем «Если бы описанный в романе Конан Дойла персонаж действительно существовал, он был бы сыщиком». Во втором примере, напротив, речь идет о вымыш-

ленном персонаже. Мы утверждаем, что вымышленный сыщик превзошел всех сыщиков, существующих в реальности. Данное предложение, как и любое предложение, имеет пресуппозицию, что его субъект, в данном случае вымышленный герой Шерлок Холмс, существует. Но в данном примере отсутствует элемент языковой игры, который присутствовал в первом случае. Индивиды, употребляющие данное предложение о вымышленном сыщике, не станут отрицать существование вымышленного героя. Крайне сомнительно, чтобы они задумывались о нежелательных онтологических последствиях и считали ложной пресуппозицию, что такой вымышленный герой, как Холмс, существует. А если говорящие принимают данную пресуппозицию, то предложение нуждается в семантической интерпретации, поскольку рассматривается не в рамках условной, неистинной прагматической пресуппозиции, а должно интерпретироваться буквально.

Определенные затруднения возникают и в связи с интерпретацией высказываний о несуществующем при помощи имплицатуры. По мнению М.С.Гриина, ни конвенциональная, ни имплицатура дискурса не могут дать объяснение некоторым предложениям с «пустыми» именами.

В частности, конвенциональная имплицатура, предполагающая наличие референта у имени, не может дать удовлетворительного объяснения отрицательным экзистенциальным высказываниям. Рассмотрим высказывание «Планета Вулкан не существует». Данное высказывание имеет имплицатуру существования объекта, обозначаемого именем «Вулкан». Наряду с этим, в высказывании отрицается существование данного объекта. Таким образом, имплицатура высказывания входит в противоречие с тем, что в нем утверждается.

Имплицатура дискурса также не может дать объяснение употреблению «пустых» имен в отрицательных экзистенциальных высказываниях. В отличие от конвенциональной имплицатуры, имплицатура дискурса может быть отменена контекстом или интенцией говорящего ничего не подразумевать при употреблении имени. Следовательно, когда происходит такая отмена, участники диалога понимают, что высказываемое утверждение не может оцениваться как истинное или ложное, так как говорящий не связывает с именем, входящим в состав данного высказывания, какого бы то ни было содержания.

Итак, с моей точки зрения, антиреалистские стратегии в целом оказываются не очень удачными по двум причинам: во-первых, они либо предоставляют искусственную интерпретацию высказываний о несуществующем, либо сталкиваются с трудностями, которые были рассмотрены выше. Вторая причина неудовлетворительности антиреалистского объяснения функционирования «пустых» имен, на мой взгляд, заключается в попытке перенести значение огромного пласта языковых выражений в область подразумеваемого и объяснить их употребление прагматическими аспектами языка. По словам специалистов по семантике G.Chierchia и S.McConnell-Ginet<sup>41</sup>, если семантика затрагивает лишь те аспекты интерпретации высказывания, которые зависят от языковой системы самой по себе, то прагматика изучает использование языка в конкретных ситуациях, рассматривает высказывания как действия говорящего, осуществляемые с определенной интенцией. На мой взгляд, значение «пустого» имени едва ли правомерно рассматривать как некоторую функцию контекста, интенций говорящего и т. п. Употребление «пустого» имени не имеет каких бы то ни было отличий от использования в языке других имен, которые мы считаем непустыми, и поэтому кажется, что это употребление все-таки должно иметь буквальную, семантическую интерпретацию.

### Примечания

- <sup>1</sup> Понятие «аналитическая философия» является довольно размытым и нечетким. Можно называть аналитическим ни какое бы то ни было направление в философии, а скорее стиль философствования, стремящийся к четкости, ясности и доказательности в рассуждениях. В данном случае я буду использовать более распространенное понимание данного термина. Под аналитической философией я буду понимать направление, которому положили начало работы Мура, Б.Рассела, Л.Витгенштейна и логических позитивистов и в рамках которого сегодня продолжают работать множество исследователей, в особенности в США.
- <sup>2</sup> *Макеева Л.Б.* Язык, онтология и реализм. М., 2011. С. 5.
- <sup>3</sup> Во второй половине XX в. наметился иной подход к пониманию соотношения языка и реальности, связанный с возникновением гипотезы лингвистической относительности Сепира–Уорфа. Согласно их исследованиям, структуры языка не отражают структуру реальности, а, напротив, формируют определенное представление о ней. Мысль о том, что структуры реальности не укоренены в языке и что он служит иным, в частности прагматическим, целям, получила

- дальнейшее развитие в работах позднего Л.Витгенштейна, У.Куайна и других. Исследование, проводимое в данной статье, будет осуществляться в рамках реалистского направления по отношению к языку. Все философы, о которых пойдет речь, тем или иным образом признают соответствие между структурами языка и элементами реальности, вопрос, стоящий перед этими авторами, заключается лишь в том, имеет ли это соответствие всеобщий характер или язык нуждается в ревизии с целью выявления своей подлинной сущности, которая и является отображением истинной природы реальности.
- 4 *Макеева Л.Б.* Язык, онтология и реализм. М., 2011. С. 11.
  - 5 *Quine W.V.* Designation and existence // *The journal of philosophy.* 1939. Vol. XXX-VI. № 26. P. 708.
  - 6 См. работы С.Крипке «Naming and Necessity», Keith S. Donnellan «Speaking of Nothing», G.Evans «Varieties of Reference», Jerrold J. Katz «Names without bearers», D.Braun «Empty names», N.Salmon «Nonexistence», G.Priest «Towards non-being», R.M.Sainsbury «Fiction and Fictionalism», A.Stroll «Proper Names, Names, and Fictive Objects» и многие другие. В отечественной философской литературе также растет интерес к данной проблематике, которая обсуждается в работах А.Л.Никифорова, Л.Б.Макеевой, В.Горбатова, П.С.Куслия, Е.В.Востриковой и других.
  - 7 *Stroll A.* Proper Names, Names, and Fictive Objects // *The Journal of Philosophy.* 1998. Vol. 95. № 10. P. 522–554.
  - 8 *Garver N., Seung-Shong Lee.* Derrida and Wittgenstein. Philadelphia Temple, 1994. P. 115.
  - 9 *Searle J.* Speech acts. N.Y., 1969. P. 77.
  - 10 *Strawson P.F.* On Referring // *Mind. New Series.* 1950. Vol. 59. № 235. P. 331.
  - 11 Теория прямой референции является сегодня наиболее распространенной и влиятельной теорией значения в аналитической философии. Согласно теории прямой референции, единственной семантической функцией имени является обозначение объекта, т. е. имя не обладает смыслом, который опосредует обозначение, а напрямую обозначает объект.
  - 12 *Russel B.* On denoting // *Mind. New Series.* 1934. Vol. 14. № 56. P. 485.
  - 13 Позиции данных философов отражены в их работах: *Parsons T.* Nonexistent Objects. Yale. 1980; *Priest G.* Towards non-being: the logic and metaphysics of intentionality. Oxford, 2005; *Zalta E.* Referring to Fictional Characters // *Dialectica.* 2003. 57/2 P. 243–254.
  - 14 Классическая концепция истины восходит к работам Аристотеля. Философ считал истину свойством представлений и суждений и определял ее как соответствие мнений и утверждений действительности.
  - 15 Имя Фреге понимает достаточно широко – именами могут быть как единичные выражения типа «Виктор», так и дескрипции.
  - 16 *Фреге Г.* Логика и логическая семантика. О смысле и значении. М., 2000. С. 231.
  - 17 Там же. С. 234.
  - 18 *Рассел Б.* Философия логического атомизма. Томск, 1999. С. 26.
  - 19 Там же. С. 26.
  - 20 Там же. С. 27.

- 21 Стронниками прямой референции являются С.Крипке, Р.Б.Маркус, К.Донеллан, Н.Салмон, Д.Браун, М.Девитт и другие.
- 22 *Ледников Е.* Онтологическая проблематика в свете аналитической философии // *Логос*. 2009. № 2. С. 37–43.
- 23 *Куайн У.* Слово и объект. М., 2000. С. 136.
- 24 *Падучева Е.В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985. С. 69–75.
- 25 *Фреге Г.* Логика и логическая семантика. О смысле и значении. М., 2000. С. 239.
- 26 *Strawson P.F.* On referring // *Mind*. 1950. № 59. P. 329.
- 27 Там же. С. 330.
- 28 Там же. С.
- 29 *Падучева Е.В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985. С. 53.
- 30 Подробно о проблеме наследования пресуппозиций и трудностях ее решения в рамках семантической концепции пресуппозиций см.: *Portner P.H.* What is meaning? *Fundamentals of formal semantics*. Blackwell Publ., 2005. P. 181–185.
- 31 Применение данной стратегии считает допустимым в ряде случаев Р.М.Сэинсбери. См.: *Sainsbury R.M.* Fiction and fictionalism. Routledge, 2010. P. 118–119.
- 32 Данная позиция отражена в работах: *Braun D.* Empty names // *Nous*. 1993. Vol. 27. № 4; *Green M.S.* Direct Reference and Empty names // *Canadian Journal of Philosophy*. 2007. Vol. 37. № 3; *Adams F., Fuller G., Stecker R.* The Semantics of Fictional Names // *Pacific Philosophical Quarterly*. 1997. 78. P. 128–48; *Adams F., Stecker R.* Vacuous Singular Terms // *Mind and Language*. 1994. 9. P. 387–401.
- 33 *Green M.S.* Direct Reference and Empty names // *Canadian Journal of Philosophy*. 2007. Vol. 37. № 3.
- 34 *Grice H.P.* Speech Acts. Logic and conversation. N.Y., 1975.
- 35 *Падучева Е.В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985. С. 64.
- 36 *Porter P.H.* What is meaning? *Fundamentals of formal semantics*. Blackwell Publ., 2005. P. 177.
- 37 Свои варианты этой стратегии развивают Г.Эванс, К.Вальтон, Д.Льюис, Дж. Сёрл, С.Шиффер, Р.М.Сэинсбери.
- 38 *Schiffer St.* Language-Created Language-Independent Entities // *Philosophical Topics* 24. P. 149–67; *Searle J.* The Logical Status of Fictional Discourse // *New Literary History*. 1975. 6 (2). P. 319–329.
- 39 *Searle J.* The Logical Status of Fictional Discourse // *New Literary History*. 1975. 6 (2), P. 326.
- 40 *Evans G.* The Varieties of Reference. Oxford, 1982. P. 353–372.
- 41 *Chierchia G., McConnell-Ginet S.* Meaning and Grammar: An Introduction to Semantics. MIT Press, 1990. P. 4–5.

*Е.В. Вострикова*

## **Семантика vs прагматика: современные подходы\***

В данной статье я представлю основные направления современных дискуссий в философии языка по проблеме различия между семантикой и прагматикой. Для этого в первой части статьи я предложу некоторые исходные определения, дам краткое описание проекта систематического формального подхода к исследованию языка, продемонстрирую, почему проблема отграничения семантики от прагматики играет важную, а для некоторых исследователей ключевую роль для возможности реализации упомянутого подхода. Во второй части статьи я представлю основные подходы к проведению данного различия и аргументы в пользу этих подходов. Также я рассмотрю ряд сложных случаев для проекта формальной семантики и обозначу некоторые направления их возможного разрешения в рамках этого проекта, т. е. отказавшись от необходимости размывания границы между семантикой и прагматикой, предлагаемого некоторыми современными исследователями.

### **Основные определения: семантика и прагматика**

В логико-философской и лингвистической традиции принято проводить различие между тремя основными направлениями исследований в области семиотики (теории знаков) – семантикой,

---

\* Это переработанная версия статьи «Семантика vs прагматика: современные подходы», которая была опубликована в журнале «Эпистемология и философия науки» (2011. № 2).

синтаксисом и прагматикой. Данное различие восходит к работе Ч.Морриса «Основания теории знаков» (1938). В рамках этой традиции считается, что синтаксическая теория исследует такие свойства выражений, как грамматическая корректность, предметом изучения семантики являются отношения между выражениями и тем, что они обозначают, а прагматика занимается отношением между выражениями и их употреблением в контексте конкретной ситуации.

Идея проекта формальной семантики для естественного языка впервые была сформулирована в работах Г.Фреге. В основе современной формальной семантики лежат работы Ричарда Монтегю.

Классический учебник по формальной семантике начинается словами: «Знать значение предложения – значит знать условия его истинности<sup>1</sup>». Эта идея является центральной для современной формальной семантики. В ней также предполагается, что условия истинности предложений естественного языка могут быть представлены в виде логических формул.

Другой основополагающей идеей является композициональность – значение сложных выражений построено из значений простых выражений, входящих в их состав, на основе синтаксических правил. Дональд Дэвидсон<sup>2</sup> сформулировал аргумент в пользу композициональной семантики, согласно которому наша способность быстро освоить огромный массив языка и производить предложения, которые мы никогда не слышали, может объясняться тем, что естественный язык состоит из конечного набора правил, которые мы изучаем в процессе освоения языка.

Большинство (хотя и не все) формальных семантик являются теоретико-модельными, т. е. в них все лингвистические выражения соотносятся с заданным универсумом объектов посредством правил интерпретации (истинностным значением, референцией и возможными мирами).

Важной для формальной семантики для естественного языка является идея семантической компетенции. В соответствии с предложенной выше основной идеей формальной семантики это знание условий истинности: если нам дано предложение и ситуация, в которой оно произнесено, то мы как носители языка можем судить, какие условия должны быть выполнены, чтобы это предложение

было истинным. Также компетентный носитель языка способен выносить суждения об отношениях следования между предложениями этого языка<sup>3</sup>.

Для прагматики Ч.Моррис предлагал следующее определение: прагматика – дисциплина, изучающая отношение знаков к их интерпретаторам<sup>4</sup>. Это определение не является достаточно ясным. Существенным образом уточнил это понятие П.Грайс. В работе «Логика и речевое общение» он сформулировал различие между тем, что было сказано в предложении, и тем, что было имплицировано в его произнесении. Следующий пример проясняет, что конкретно имел в виду Грайс под различием сказанного и имплицированного (от термина «импликаатура», введенного Грайсом):

«Предположим, А и Б разговаривают о своем общем приятеле В, работающем в банке. А спрашивает, как дела у В на работе, и Б отвечает: «Думаю, более или менее в порядке: ему нравятся сослуживцы, и он еще не попал в тюрьму». Тут А вполне может поинтересоваться, что Б имеет в виду, на что он намекает или даже что значат его слова о том, что В еще не попал в тюрьму <...>. В любом случае мне кажется очевидным следующее: то, что (в рассмотренном примере) Б подразумевал, имел в виду, на что он намекал и т. д., отличается от того, что он сказал – *сказано было только то, что В еще не попал в тюрьму*»<sup>5</sup> (курсив мой. – Е.В.).

То, что было сказано, согласно Грайсу, определяется конвенциональным смыслом слов, которые были произнесены: «Если мы знаем английский язык, но не знаем ничего относительно ситуации произнесения этого высказывания, мы получим некоторое представление о том, что было сказано говорящим»<sup>6</sup>.

От Грайса берет начало традиция относить к области семантики исследование того, что было сказано в предложении, и к области прагматики того, что было имплицировано говорящим в произнесении данного предложения.

То, что было сказано, в отличие от того, что было имплицировано, доступно для любого компетентного носителя языка независимо от того, что ему известно о конкретной ситуации; эта информация закодирована в самом предложении и передается слушающему независимо от интенций говорящего; чтобы передать эту информацию, говорящий просто следует лингвистическим правилам, а не использует какую-то сложную когнитивную стратегию.



Безусловно, это определение несколько упрощает реальную ситуацию, и мы увидим ниже, что не в каждом случае легко отличить то, что сказано, от того, что имплицировано. Существуют и другие определения прагматики, однако для целей данного обсуждения актуально именно это изначальное определение.

### **Зависимость от контекста и неопределенность значения как вызов для систематической семантики**

В 40–60 гг. прошлого столетия большую популярность получила философия обыденного языка, ключевой идеей которой была невозможность исследования языка независимо от контекста его употребления. Многие философы данной школы, в частности Дж. Остин, П.Стросон, Дж. Сёрл, выражали общий скептицизм относительно проекта систематического исследования языка. Л.Витгенштейн в «Философских исследованиях» сформулировал концепцию значения как употребления, в которой не оставалось места для различия между тем, что сказано в предложении, и тем, что имплицировано в его произнесении: значение предложения целиком и полностью оказывалось зависимым от контекста его употребления. Идеи позднего Витгенштейна оказали большое влияние на философию языка, и многие исследователи, следуя за ним, считали, что проект формального систематического исследования языка, сформулированный в работах Г.Фреге, невозможно реализовать. Этот скептицизм во многом до сих пор сохраняет свое влияние на многих философов, интересующихся проблемами языка, как в отечественной, так и в зарубежной науке<sup>7</sup>.

Однако в теоретической лингвистике формальные исследования успешно продолжали реализовываться: в области семантики развивались методы, предложенные Р.Монтегю, на работах Н.Хомского основывались исследования синтаксиса, и даже зависимость выражения от конкретной ситуации употребления и связываемой с ним имплицатуры Грайса стали объектом формальных исследований в рамках традиции неограйсианства. Зависимость от контекста и неопределенность естественного языка уже давно стали объектами формального исследования, и теперь

нельзя построить аргумент, в котором просто из существования такого рода феноменов выводится невозможность их систематического анализа.

Почему же многие исследователи и сейчас полагают, что зависимость значения предложений языка от контекста является вызовом для проекта формальной семантики? Дело в том, что они считают, что контекстуальная зависимость и неопределенность выражений не позволяют отделить проблемную область семантики от проблемной области прагматики. Иными словами, эти исследователи полагают, что не существует различия между тем, что сказано в предложении, и тем, что имплицуруется, предполагается говорящим при произнесении данного предложения. Они думают, что невозможно задать и описать условия истинности предложения вне зависимости от контекста их конкретного произнесения.

Возможность поведения четкого различия между прагматикой и семантикой важна для возможности систематического исследования значения. Понятие импликатур Грайса предполагает возможность проведения различия между тем, что сообщает предложение, и тем, что имеет в виду (имплицурует) говорящий. Мы исходим из того, что сообщает предложение, для того, чтобы вычислить импликатуру. Если же предложение ничего не может сообщать, независимо от импликатур, то становится неясным, какую роль может играть семантическое содержание вообще, каким образом значение сложных выражений может быть функцией от значения простых выражений<sup>8</sup>.

Не все аспекты проблемы зависимости значения от контекста представляют собой сложность для формальной семантики. Монтегю относил к прагматике все формы зависимости выражений от контекста<sup>9</sup>, однако есть основания пересмотреть данное представление о прагматике. Некоторые формы зависимости от контекста основываются на четкой лингвистической конвенции. Так, например, значение слова «я» зависит от контекста, однако нам известно, что это слово всегда указывает на автора высказывания. Существует ряд других выражений, значение которых хоть и не в полной, но в значительной мере задается лингвистическими конвенциями – таковы демонстративы («это»), местоимения («она»). Когда говорят о том, что зависимость от контекста является вы-

зовом для проекта формальной семантики, то не эти выражения имеют в виду в первую очередь, хотя и их семантика вызвала ряд интересных дискуссий<sup>10</sup>.

Рассмотрим, например, предложение «Идет дождь». Условия истинности данного предложения, интуитивно понимаемые при его произнесении в конкретной ситуации (приблизительно их можно выразить так: «Идет дождь» истинно, если дождь идет здесь и сейчас), не совпадают с теми условиями истинности, которые задает это предложение, если понимать его буквально, исходя только из элементов, которые в данном предложении присутствуют («Идет дождь» истинно, если идет дождь (вообще)).

Другой пример, заимствованный из работы Б.Парти<sup>11</sup>: «Я выключила духовку». Если принять во внимание, что человек, скорее всего, выключал духовку в прошлом более, чем один раз, то данное предложение сообщает тривиальную истину, однако это отличается от того, как мы интуитивно понимаем значение данного предложения в контексте.

Сходный с этим и обсуждаемый в литературе проблемный случай – это ограничение области действия квантора. Как и в случае с дождем, интуитивные условия истинности предложения «Все студенты сдали экзамен на “отлично”», произнесенного в контексте, будут состоять не в том, что все студенты всего мира сдали экзамен на «отлично», а в том, что все студенты в конкретном классе сдали экзамен на «отлично».

Еще один сложный случай – это прилагательные и глаголы, значение которых варьируется в зависимости от того, к каким объектам они относятся. Например, значение выражения «большая мышь» нельзя представить как некоторый объект, который обладает одновременно свойством быть мышью и быть большим, поскольку большая мышь может быть достаточно маленьким существом.

С другой стороны, существуют прилагательные и глаголы, значение которых зависит от того, с каким существительным они сочетаются: значение слова «отрезать» будет варьироваться в зависимости от контекста – сравните выражения «отрезать волосы» и «отрезать торт».

Эти проблемные случаи достаточно давно известны и обсуждаются в литературе, но интерес к вопросу о зависимости языковых выражений от контекста по-прежнему является одной из клю-

чевых тем философии языка: только за последние 6 лет появилось несколько монографий, специально посвященных обсуждению этих проблем<sup>12</sup>. В целом сформировалось несколько направлений решения вопроса об этой зависимости, к рассмотрению которых я сейчас и перейду.

### **Язык и контекст: основные подходы**

Дискуссии в современной аналитической философии языка сконцентрированы вокруг контекстуализма – направления, в котором решение представленных выше проблем предлагается через кардинальный пересмотр традиционных представлений о семантике и прагматике.

#### **Контекстуализм**

Существует несколько разновидностей семантического контекстуализма, но их объединяет идея о том, что прагматические факторы присутствуют на всех этапах интерпретации значения предложения. Согласно контекстуализму, для адекватного анализа того, что сказано, недостаточно семантики; ни одно предложение не выражает пропозицию, не обладает условиями истинности (или условиями приемлемости), если мы рассматриваем его без контекста употребления и не принимаем во внимание прагматические по своей природе факторы.

К контекстуализму в семантике относят идеи Дж. Сёрла, Ч.Тревиса, Ф.Реканати, Д.Спербера и Д.Уилсона, Дж. Перри. Идеи контекстуализма также ассоциируют с понятием «неартикулированных конституент», призванным выразить функцию зависимости значения предложения от контекста. Сам термин «неартикулированные конституенты» был, по всей видимости, введен Дж. Перри<sup>13</sup>, однако и Тревис, и Сёрл утверждали, что предложение имеет условия истинности или приемлемости в более широком смысле слова, только когда мы принимаем во внимание контекстуальные факты, которые не являются артикулированными. Обсуждая проблему неопределенности выражения «отрезать» вне контекста, Сёрл приводит пример

предложения «Отрежь солнца». Поскольку (возможно, пока) не существует контекста, в котором произнесение данного предложения было бы осмысленным, мы не можем представить, какие конкретно действия ожидалось бы от индивида в данном случае, основываясь лишь на конвенциональном смысле слов.

Дж. Перри вводит неартикулированные конституенты для анализа таких предложений, как «Идет дождь». Он полагает, что для того, чтобы понять смысл данного предложения в контексте, требуется признать, что помимо произнесенных слов в нем присутствует скрытый индекс, который указывает на место, где идет дождь, и условия истинности данного предложения не могут быть поняты, пока мы не знаем, на что указывает этот индекс. Перри утверждает, что неартикулированные конституенты вводятся на постсемантическом уровне. Его аргумент основывается на контрасте между предложениями «Здесь идет дождь» и «Идет дождь». В первом случае язык (буквальное значение слов) дает достаточно четкое указание на то, что следует рассматривать в качестве индекса. Во втором случае индекс не присутствует в грамматической структуре предложения<sup>14</sup>. В зависимости от контекста второе предложение будет сообщать о том, что идет дождь здесь или в каком-то другом месте.

Одним из наиболее известных сторонников контекстуализма является современный французский философ Франсуа Реканати, сформулировавший проект прагматики в терминах условий истинности. В более ранних работах он формулировал свою основную идею также через понятие неартикулированных конституент<sup>15</sup>, однако в более поздних работах<sup>16</sup> эту функцию выполняет понятие модуляции (ниже я поясню связь между этими двумя понятиями).

В основе прагматики в терминах условий истинности лежит идея о том, что предметом интереса и исследования философа языка и лингвиста должны быть условия истинности высказывания, интуитивно понимаемые людьми, использующими язык. Когда мы произносим предложение «Все студенты получили “отлично” на экзамене», то интуитивно мы понимаем, что условия истинности этого предложения не состоят в том, что все студенты всего мира получили «отлично». В грамматической структуре данного предложения отсутствует ограничение области действия квантора «все». Согласно Реканати, эта информация привносится в предло-

жение с помощью прагматического процесса наполнения предложения данными конституентами. Дело не только в том, что значение такого рода предложений варьируется, но также в том, что оно изменяется не в зависимости от каких-то объективных свойств контекста, а в зависимости от интенций говорящего.

В отличие от Перри, Реканати подчеркивает, что процесс наполнения смысла предложения с помощью такого рода конституент не является обязательным. Для Реканати это значит, что нельзя утверждать, что в структуре данного предложения постоянно наличествует скрытое индексное выражение (или скрытая переменная), всегда присутствующее в структуре данного предложения и задающее именно тот универсум, который требуется контекстом. Если мы рассмотрим тот же пример с прогнозом погоды «Идет дождь», то в большинстве случаев то, что сказано в данном предложении, невозможно понять, не зная места и времени, о которых идет речь, однако можно сконструировать случай произнесения данного предложения в ситуации, когда дождь стал огромной редкостью на Земле и каждый случай выпадения дождя фиксируется специальными датчиками. Для понимания условий истинности высказывания в последнем случае, с точки зрения Реканати, не требуется введения дополнительных конституент<sup>17</sup>.

Подобные примеры, с позиции Реканати, демонстрируют, что традиционная семантика неспособна адекватно отразить условия истинности высказываний, и вместо пропозиций и условий истинности на выходе она способна дать только неполные схемы предложений, пропозициональные функции (термин Б. Рассела; пропозициональная функция образуется путем замены одного или нескольких элементов предложения на переменные).

Такого рода процессы, при которых зависимость от контекста не предполагается значением какой-то конкретной лексической единицы в предложении (например, если в предложении отсутствуют индексы или местоимения), тем не менее влияет на условия истинности предложения, он называет свободными прагматическими процессами, в литературе также встречается название «сильные прагматические эффекты»<sup>18</sup>. Модуляция является свободным прагматическим процессом. Модуляция – это функция, аргументами которой являются выражение и контекст, а значением – релевантный для данного контекста смысл данного вы-

ражения. Понятия модуляции и неартикулированных конститuentов близки, но отличаются тем, что модуляция – это преобразование конкретной лексической единицы, и смыслы, которые появляются в результате модуляции, нельзя назвать неартикулированными конститuentами, поскольку они соотношены с некоторыми конститuentами в предложении. Однако если мы осуществляем модуляцию целого предложения, то это будет соответствовать введению неартикулированных конститuentов.

Реканати приводит следующие примеры модуляции отдельных лексических единиц: в предложении «Город спит» слово «город» претерпевает модуляцию и приобретает значение «люди, проживающие в городе», другой пример: «В центре торгового комплекса сидит лев». Здесь «лев» указывает не на настоящего льва, а на статую льва.

Можно выделить три основных возражения, сформулированных против данной концепции. Во-первых, считается, что данная концепция несовместима с проектом систематической семантики. Выражение, по Реканати, может вносить свой конвенциональный смысл в состав более сложного выражения, но оно также может вносить бесконечное количество других смыслов. Во-вторых, прагматика условий истинности ставит значение практически всех выражений в зависимость от интенций говорящего, сводя к минимуму объективный элемент (семантику) в коммуникации, что существенно затрудняет коммуникацию. В-третьих, этот подход имеет недостаток чрезмерного обобщения, а именно дает ложные представления о том, что возможны любые модуляции предложений. Например, предложение «Всем нравится Салли», согласно данной концепции, должно быть способно означать «Всем нравится Салли и ее мама», что, конечно же, является ложным. Язык имеет достаточно четкие правила, что не находит отражения в рамках данной концепции.

В своей книге «Прагматика условий истинности» (2010) Реканати отвечает на данные аргументы. Я не ставлю своей задачей ответить на вопрос, насколько адекватны ответы Реканати. Однако важно заметить, что подход прагматики условий истинности в любом случае бросает вызов современному пониманию формальной семантики и требует серьезного пересмотра ее оснований. Таким образом, нам следует принимать данную концепцию только в том случае, если в рамках классической семантики невозможно дать

ответ на те проблемные случаи, которые приводит Реканати. Кроме того, не совсем оправданной представляется предпосылка о том, что все указанные проблемы имеют одну и ту же природу и должны решаться одинаковым образом (например, на мой взгляд, ситуацию с метафорическим употреблением выражений следует рассматривать в ином ключе, чем проблему ограничения области действия квантора). Ниже будут рассмотрены подходы, не требующие такого серьезного пересмотра классического отношения между тем, что было сказано, и тем, что было имплицировано, которые не допускают сильных прагматических эффектов. Мы увидим, что у классического подхода есть соответствующие ресурсы для решения сформулированных проблем.

### Буквализм

Контекстуалистам в современной философии языка противостоят так называемые буквалисты. Это название объединяет достаточно сильно различающиеся между собой теории, общим элементом которых является идея о том, что сильные прагматические факторы не могут оказывать влияние на семантическое содержание выражений, и которые, однако, существенно расходятся по вопросу о том, насколько значительна роль семантического содержания в реальной коммуникации. Буквализм («Literalism» – от слова «literal» – буквальный) в настоящее время, пожалуй, является доминирующей позицией в обсуждении проблемы дистинкции между семантикой и прагматикой в философии языка. Название «буквализм» связано, по всей видимости, с тем, что сторонники такого рода концепций к семантическому содержанию предложений относят только то, что буквально выражено элементами данного предложения.

Буквалистов объединяет вера в то, что мы можем приписывать содержание в терминах условий истинности предложениям естественного языка независимо от того, что имеет в виду говорящий, который произносит эти предложения. Таким образом, буквализм – это концепция, согласно которой семантическое содержание предложения, произнесенного в контексте, можно и следует отделить от прагматического содержания.



Среди буквалистов можно выделить минималистов и индексикалистов, хотя эти термины не всегда используются одинаково всеми участниками дискуссии (например, в рецензии на книгу «Буквальное значение» известный критик позиции Реканати Дж. Стэнли отделяет свою позицию от буквализма<sup>19</sup>, хотя его концепцию принято относить к данному направлению<sup>20</sup>). Общей чертой всех минималистских концепций является то, что в них признается лишь минимальный набор выражений, значение которых зависит от контекста, т. е. только те выражения, контекстуальная природа которых является очевидной («я», «сегодня», «она», «это» и т. п.). Минимализм в существенной мере следует идеям П.Грайса, который видел прагматику как дополнение, а не альтернативу семантике.

Индексикалисты, ведущими представителями которых являются Дж. Стэнли и З.Сабо, постулируют наличие контекстуально зависимых выражений, присутствующих в предложении в неявном виде, практически для каждого случая, когда интуитивные условия истинности высказывания зависят от контекста.

### Минимализм

Минимализм представляет собой прямой ответ на сложности для проекта формальной семантики, которые возникают из-за неполноты или недостаточной определенности предложений естественного языка. Вернемся к примеру предложения, в котором область действия квантора не ограничена и интуитивно должна быть считана с контекста: «Все студенты сдали экзамен на “отлично”». Для того чтобы избежать введения неартикулируемых конститuent средствами прагматики в семантическое содержание данного предложения, минималисты утверждают, что его семантическое содержание, понятое буквально, даже если мы рассматриваем его относительно конкретного контекста, состоит именно в том, что вообще все студенты мира сдали экзамен на отлично. Предложение «Идет дождь», если его понимать буквально, истинно, если идет дождь (вообще в принципе). В семантическом минимализме принимается идея о том, что семантическое содержание предложения может достаточно серьезно отличаться от того, что сообщ-

щает говорящий в конкретном акте высказывания. К минимализму в современной философии языка относятся Н.Сэлмон, С.Соумс, Э.Борг, К.Бах, Э.Лепор, Г.Каппелен и др.

Как было сказано выше, мотивация, которая стоит за такого рода концепциями, заключается в том, чтобы сохранить область семантики совершенно автономной от любых сильных прагматических воздействий. Таким образом, сторонники данной концепции стремятся развести нашу лингвистическую компетенцию, связанную со знанием семантики (нашу способность понимать и считать условия истинности типов предложений вне зависимости от их употребления в контексте), и нашу более общую способность объяснять поведение, приписывая другим людям интенции<sup>21</sup>. Сохранение семантического содержания свободным от прагматики позволяет сохранить все те важные преимущества, которыми обладает формальная семантика – объяснение композициональности языка, объяснение его продуктивности, объяснение нашей способности быстро осваивать большие объемы языкового знания, объяснение способности понимать условия истинности предложений, которых мы никогда до этого не слышали.

Минимализм предлагает достаточно простые ответы на вызов контекстуализма. Двумя основными аргументами в пользу последней позиции, как было сказано выше, являются тезис о том, что во многих случаях предложения обыденного языка неспособны задать какие-либо условия истинности без конкретного контекста, и тезис о том, что условия истинности, которые они задают, являются нерелевантными к интуитивно понимаемым условиям истинности высказывания в контексте. В ответ на второе замечание минималист скажет, что понятия релевантности, адекватности не являются по своей природе семантическими, это чисто прагматические понятия, они важны для определения того, что говорящий мог бы иметь в виду в данном контексте, но не имеют отношения к вопросу о том, каково буквальное значение данного предложения<sup>22</sup>.

**В ответ на первое соображение минималисты могут предложить различные ответы, в зависимости от конкретного примера. Например, Ф.Реканати использует пример цвета для демонстрации неопределенности значения. С его точки зрения, значение слова «красный» не будет одним и тем же для всех случаев употребле-**

ния данного предиката: сравним, например, выражения «красное лицо» и «красная ручка». Ручка может быть красной не только, если ее поверхность является красной, но и если чернила, которыми она пишет, являются красными. Что значит для какого-то предмета просто быть красным? В ответ на это минималист также скажет, что разрешение данного вопроса не входит в задачу исследователя семантики, это скорее задача для метафизики<sup>23</sup>. Семантика может только сказать, что предложение «А красное» является истинным, если А является красным.

Далее, сторонник минимализма мог бы справедливо ответить контекстуалисту, что для любого уточненного значения можно сформулировать аналогичные вопросы. Например, если мы полагаем, что для анализа значения предиката «красный» необходимо провести различие между «иметь красную поверхность» и «быть красным изнутри», то далее можно потребовать уточнить понятие «иметь красную поверхность» и так до бесконечности. Контекстуализм, с точки зрения Лепора и Каппелена, не имеет умеренного измерения, он может быть только радикальным. Радикальный же контекстуализм не объясняет наши интуиции относительно истинности предложений типа ««А красное», если А красное», так как согласно этой точке зрения они должны быть ложными или не имеющими истинностного значения<sup>24</sup>.

Однако не все минималисты сходятся во мнении относительно того, что является семантическим значением предложений, которые, по крайней мере, на первый взгляд являются неопределенными. Так, например, Каппелен и Лепор будут рассматривать предложение «Эрни готов» как выражающее полную пропозицию. К.Бах, соглашаясь с ними в том, что семантическое значение предложения должно быть буквальным и минимальным, считает, что данное предложение не выражает полной пропозиции (не обладает условиями истинности). Для Баха семантическое значение предложения может представлять собой нечто вроде пропозициональной функции<sup>25</sup> и почти все предложения языка не выражают полной пропозиции. В ответ на это Каппелен и Лепор справедливо отмечают, что Бах не сформулировал никакого критерия для возможного отличия предложений, выражающих полную пропозицию, от предложений, не выражающих полную пропозицию.

Также может возникнуть вопрос в отношении концепции К.Баха: если семантическое значение предложения редко бывает пропозициональным, то это означает, что мы должны отбросить идею о том, что задачей семантики является формулировка условий истинности; будет ли в данном случае позиция Баха отличаться существенным образом от позиции контекстуализма? Бах считает, что его понятие семантического содержания играет важную теоретическую роль. Во-первых, любое предложение может быть дополнено таким образом, что оно будет выражать пропозицию. Во-вторых, в отличие от контекстуализма, семантическое значение в концепции Баха подчиняется принципу композициональности в самом строгом смысле<sup>26</sup>.

Э.Борг предлагает другой ответ на возражение о неполноте некоторых предложений: она считает, что в некоторых случаях мы можем восстановить пропозицию, выраженную неполным предложением, исходя из синтаксических свойств выражений в данном предложении<sup>27</sup>. Итак, если рассмотреть пример предложения «Джон пинает», то поскольку «пинать» является переходным глаголом и требует объекта, на синтаксическом уровне описания будет добавлено второе место для аргумента с переменной, связанной оператором существования. Если этот анализ корректен, то «Джон пинает» будет выражать пропозицию, а именно «Джон пинает что-то». Соответствующие рассуждения можно применить к примеру, обсуждаемому Бахом, Лепором и Каппеленом. Таким образом, можно было бы сказать, что «Он готов» выражает минимальную пропозицию «Он готов к чему-то».

Можно выделить два основных возражения минималистскому представлению о семантике.

Во-первых, это замечание о том, что минималистское содержание не играет никакой роли в коммуникации, оно слишком сильно отличается от того, что имеет в виду говорящий, его необязательно считывать, чтобы понять значение говорящего<sup>28</sup>. Однако, на мой взгляд, К.Бах дает вполне удовлетворительный ответ на данное возражение. Мы проводим различие между семантическим значением предложения как типа и тем, что сказано в конкретной ситуации, используя данное предложение, потому что это различие фактически существует. Бах проводит аналогию между семантическим содержанием предложения

(тем, что сказано) и его локутивным содержанием, с одной стороны, и содержанием предложения при конкретном произнесении и иллокутивным содержанием речевого акта – с другой. Это различие важно, потому что человек может сказать что-то, но ничего не иметь в виду; он может не сказать то, что он имеет в виду; он может иметь в виду то, что он сказал плюс нечто еще (импликатуры); он может сказать нечто и иметь в виду что-то другое. Другой аргумент, который также приводит К.Бах, опирается на экспериментальную работу психологов, которые установили, что даже в случае с предложением, которое используется в явно метафорическом смысле (например, «Усердие – это лестница к успеху»), слушающему не нужно сначала считать то предложение, которое было сказано буквально, чтобы перейти к метафорическому смыслу. Было бы ошибкой, однако, сделать из этого вывод, что буквальное и метафорическое содержание в данном случае совпадают<sup>29</sup>.

Второе возражение касается проблемы определения семантического содержания с точки зрения минимализма. Согласно Лепору и Каппелену, семантическое содержание – это то общее для всех высказываний, что высказывается во всех его произнесениях вне зависимости от контекста. Сходной точки зрения придерживается С.Соумс. Он называет семантическое содержание «наименьшим общим знаменателем» всех произнесений данного предложения – тем, что утверждалось бы в любом контексте (при условии, что значение индексных элементов предложения остается фиксированным<sup>30</sup>).

Проблема с этим ответом состоит в том, что, возможно, никакой общей пропозиции не высказывается во всех произнесениях данного предложения во всех контекстах. В любом случае вряд ли буквальное значение предложения «Все студенты сдали экзамен на “отлично”» (где речь идет обо всех студентах всего мира) утверждается хотя бы в одном из произнесений данного предложения<sup>31</sup>.

Пожалуй, наиболее провокационный и интересный проект по интеграции роли контекста в формальный анализ семантического содержания был предложен в работах Дж. Стэнли, некоторые из них написаны в соавторстве с З.Сабо и Дж. Кингом. По признанию Стэнли, каждый из тезисов, который он отстаивает, подвергается суровой критике в современной философии языка.

Согласно этому проекту, любая зависимость предложения от контекста сводится к наличию определенного элемента в логической форме предложения, который отвечает за контекстуальность. В общем виде, логическая форма предложения – это формальная репрезентация его логической структуры, т. е. структуры, которая объясняет его логическую роль и свойства<sup>32</sup>. Понятие логической формы предполагает, что существует различие между грамматической ролью предложения и его логической формой. Основными объектами критики Стэнли являются контекстуализм и минимализм в семантике. В отличие от представителей минимализма, Стэнли считает, что объектом исследования семантики являются выражения, рассматриваемые в контексте.

Несмотря на то, что выше я отнесла Стэнли (следуя терминологии Реканати) к индексикалистам, этот термин не вполне адекватно отражает его концепцию, поскольку элементы, которые он постулирует в логической форме предложения, отвечающие за контекстуальность, не являются индексами. Стэнли отделяет свою позицию от упоминавшейся выше концепции неартикулированных конститuent. Неартикулированные конститuent в определении Дж. Перри – это индексы. Индексы – это примитивные лексические единицы, они не могут быть связанными никакими операторами. Интерпретация индексных выражений меняется от контекста к контексту. Примером индексного выражения в естественном языке является слово «я». Несложно показать, что «я» в отличие от местоимений, таких как «он», не может быть связано каким-либо выражением. Сравним два предложения: «Каждый<sub>i</sub> человек<sub>j</sub>, кто произносит данное высказывание, считает, что он<sub>i</sub> гений» и «Каждый<sub>i</sub>, кто<sub>i</sub> произносит данное высказывание, считает, что я<sub>\*i/k</sub> гений»<sup>33</sup>. Во втором предложении выражение «Каждый, кто произносит данное высказывание» не может связывать «я», это выражение всегда указывает на говорящего, хотя дескриптивно значение «я» можно выразить как «тот, кто произносит данное высказывание».

Неприятие Стэнли скрытых индексов связано с тем, что он, как и минималисты, считает, что в семантической интерпретации нельзя постулировать скрытые структуры, которые несовместимы с правильной синтаксической структурой предложения.

Элементы в логической форме предложения, которые, по Стэнли, отвечают за зависимость от контекста, являются не индексами, а переменными. Эти переменные не во всех случаях являются явными, однако ключевой момент состоит в том, что они могут быть выявлены, если в предложении появится квантор. Операторы предложения могут взаимодействовать только с переменными в предложении, которые лежат в пределах их области действия.

Рассмотрим классический пример с дождем. Согласно Стэнли, предложение «Идет дождь» содержит переменную, которая указывает на место, где идет дождь. Эту переменную можно выявить, если поставить в первую часть предложения выражение, содержащее квантор: «Каждый раз, когда Джон зажигает сигарету, идет дождь». Это предложение имеет такое прочтение, согласно которому каждый раз, когда Джон зажигает сигарету, дождь идет в том месте, где Джон зажигает сигарету.

Сходным образом Стэнли объясняет любую зависимость от контекста в условиях истинности предложения (ограничение области действия квантора<sup>34</sup>, решение проблемы прилагательных, предполагающих класс сравнения): она возникает, поскольку в реальной структуре предложений естественного языка находятся скрытые переменные, значение которых фиксируется в определенном контексте<sup>35</sup>.

Наиболее сильным аргументом в литературе против проекта Стэнли является тезис о том, что подобного рода связывание происходит и в случаях, когда сложно допустить существование переменной в логической форме предложения. Например, «Так или иначе, полицейский остановил машину». Должны ли мы допустить, что слово «останавливать» должно сопровождаться переменной, указывающей на способ остановки?<sup>36</sup> Другой пример: «Каждый раз, когда отец готовит грибы, Вася ест» – должны ли мы заключить, что непереходный глагол «есть» предполагает наличие объекта? Стэнли предлагает ответ на подобного рода примеры.

Проект, предложенный Стэнли, лишен недостатков минимализма, связанных с неясной природой и ролью минимальных позиций. С точки зрения формальной семантики данный подход, если бы он был успешно реализован, был бы наиболее привлекательным. Насколько он является правильным и адекватным анализом выражений естественного языка, может показать только дальнейшее эмпирическое исследование.

## Заключение

Разумеется, этими темами и аргументами не исчерпываются современные дискуссии по проблеме различия семантики и прагматики. За пределами данного рассмотрения остались теория релевантности Спербера и Уилсона, другие подходы к формальному анализу языка, помимо классической формальной семантики, такие как теория игр, формальная прагматика, и многие другие темы. Я не ставила также задачей проанализировать все возможные или существующие определения прагматики.

В лингвистике известен целый ряд феноменов, о которых не представляется возможным однозначно заключить, являются ли они семантическими или имеют прагматическую природу (например, анафора, полисемия, имплицитные аргументы, фактивные глаголы, отрицательная полярность, модификаторы речевых актов и т. д.). За пределами данного обзора осталась также важная тема контекстуализма в эпистемологии, которая имеет непосредственное отношение к контекстуализму в семантике (фактически является его прямым применением для решения эпистемологических проблем). Суть этой концепции состоит в том, что значение слова «знать» может меняться в зависимости от контекста<sup>37</sup>.

Проблема различия между прагматикой и семантикой может рассматриваться с различных перспектив, предметом рассмотрения данной статьи были современные дискуссии вокруг проблемы недостаточной определенности предложений естественного языка и зависимости их значения от контекстуальных факторов. Вопрос о том, возможен ли адекватный ответ с позиций классической формальной семантики на вызов контекстуализма, является открытым, это предмет текущих и будущих эмпирических исследований. Однако мы увидели, что в рамках направления буквализма (литерализма) был сформулирован целый ряд важных аргументов, демонстрирующих, что семантику и прагматику можно исследовать как два независимых аспекта значения предложений и высказываний.



## Примечания

- 1 *Heim I., Kraker A.* Semantics in generative grammar. Oxford, 1998. P. 2.
- 2 *Дэвидсон Д.* Истина и значение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. Логический анализ естественного языка / Пер. с англ. сост., общ. ред. и вступ. ст. В.В.Петрова. М., 1986.
- 3 См.: *Partee B.* Formal Semantics // The Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences / Ed. P.Colem Hogan. Cambridge, In press.
- 4 *Моррис Ч.* Основания теории знаков // Семиотика. Сб. пер. / Под ред. Ю.С.Степанова. М., 1982.
- 5 *Грайс П.* Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 16: Лингвистическая прагматика. М., 1995.
- 6 Там же.
- 7 См., например: *Никуфоров А.Л.* Чувственно-вербальное построение мира // Знание, язык, реальность. М., 2011.
- 8 Данное допущение, однако, принимается не всеми исследователями, например Кент Бах называет идею, согласно которой, «чтобы вычислить, что имплицируется, сначала требуется определить, что говорится», одним из 10 наиболее популярных заблуждений относительно импликатур (*Bach K.* The Top 10 Misconceptions about Implicature (<http://userwww.sfsu.edu/~kbach/TopTen.pdf> 2005)).
- 9 *Montague R.* Pragmatics // *Montague R.* Formal Philosophy. L., 1974. (Рус. пер.: *Монтегю Р.* Прагматика / Пер. З.А.Сокулер // Семантика модальных и интенциональных логик. М., 1981. С. 254–279.)
- 10 Интересное обсуждение сочетания конвенционального и неконвенционального элементов для такого рода выражений можно найти в работах: *Kaplan D.* Demonstratives // Themes from Kaplan. Oxford, 1989; *Bach K.* Thought and Reference. Oxford, 1987. P. 49–85.
- 11 *Partee B.* Binding implicit variables in quantified contexts // Papers from the 25th Regional Meeting; Parasession on Language in Context. Chicago, 1989.
- 12 См.: *Cappelen H., Lepore E.* Content in Context. Selected Essays. Oxford, 2012; Context Sensitivity and Semantic Minimalism. Oxford, 2007; Contextualism in Philosophy. Oxford, 2005; *Stanley J.* Language in Context. Oxford, 2007; *Borg E.* Minimal Semantics. Oxford, 2004; *Recanati F.* Literal Meaning. Cambridge, 2004; *Recanati F.* Truth Conditional Pragmatics. Oxford, 2010; *Cappelen H., Lepore E.* Insensitive semantics. Wiley-Blackwell, 2005; Semantics vs Pragmatics / Szabo Z. (ed.). Oxford, 2007.
- 13 *Perry J.* Thought without Representation // Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary. 1986. Vol. 60. P. 263–283; reprinted in the Problem of the Essential Indexical and Other Essays. Oxford, 1993.
- 14 *Perry J.* Indexicals, Contexts and Unarticulated Constituents. December 12, 1998 // Proceedings of the 1995 CSLI-Armsterdam Logic, Language and Computation Conference. Stanford, 1998.
- 15 *Recanati F.* Unarticulated Constituents // Linguistics and Philosophy. 2000. № 20.
- 16 *Recanati F.* Truth conditional pragmatics. Oxford, 2010.

- 17 На мой взгляд, данный пример недостаточно иллюстративен, так как сторонник идеи о том, что в структуре этого предложения постоянно наличествует скрытый индекс, мог бы ответить, что во втором случае индекс указывает на планету Земля.
- 18 *Stanley J.* Language in Context. Oxford, 2007.
- 19 *Ibid.* P. 237.
- 20 *Korta K., Perry J.* Pragmatics // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Summer 2011 Edition.
- 21 *Borg E.* Minimal Semantics. Oxford, 2004. P. 2; *Bach K.* The Semantics-Pragmatics Distinction: What It Is and Why It Matters // The Semantics/Pragmatics Interface from Different Points of View. Elsevier Science Ltd. 1999.
- 22 *Borg E.* Op. cit.. P. 220.
- 23 *Cappelen H., Lepore E.* Insensitive semantics. Wiley-Blackwell, 2005. P. 160.
- 24 *Cappelen H., Lepore E.* Radical and Moderate Pragmatics: Does Meaning Determine Truth Conditions? // Semantics vs pragmatics / Ed. Z.Szabo. Oxford, 2005.
- 25 *Bach K.* Minimalism for Dummies (<http://userwww.sfsu.edu/~kbach/replytoC&L.pdf>, 2005).
- 26 См.: *Bach K.* Conversational Implicature // Mind & Language. 1994. Vol. 9, Issue 2. P. 124–162; *Bach K.* Semantic Slack // Foundations of Speech Act Theory / S.L.Tsohatzidis (ed.). Routledge, 1994.
- 27 *Borg E.* Op. cit. P. 226.
- 28 *Stanley J.* Op. cit. P. 234.
- 29 *Bach K.* Context ex machina // Semantics vs pragmatics / Ed. Z.Szabo. Oxford, 2005. P. 25, 34.
- 30 *Soames S.* Naming and Asserting // Semantics Versus Pragmatics. / Ed. Z.Szabo. Oxford, 2005. P. 356–382.
- 31 *Stanley J.* Op. cit. P. 236.
- 32 *May R.* Logical form in linguistics // MIT Encyclopedia of cognitive sciences.
- 33 Знаком \* принято отмечать примеры грамматически неправильных предложений.
- 34 В рамках данной концепции в логической форме предложения «Все пожарные отважны» наличествуют две переменные, которые детерминируют область действия квантора «все»: одна переменная места и вторая переменная – функция от места к свойству «находиться в данном месте». Данная интерпретация ограничения области действия квантора восходит к работам К. von Fintel, в частности его диссертации 1994 г. “Restriction on Quantifier Domain”.
- 35 *Stanley J.* Op. cit. P. 30.
- 36 *Recanati F.* Unarticulated Constituents // Linguistics and Philosophy. 2000. № 20.
- 37 См.: *Антоновский А.Ю.* Парадоксы Геттера и их преодоление в семантическом контекстуализме // Эпистемология и философия науки. 2010. № 4.

### **Проблема жесткой десигнации в семантике имен собственных\***

В этой статье я представлю ряд аргументов в пользу одной из версий дескриптивистской теории значения для имен собственных, а именно метаязыкового подхода<sup>1</sup>. В частности, я анализирую возражение против семантического дескриптивизма, сформулированное в работах Крипке, в соответствии с которым теория такого типа не может объяснить тот факт, что имена являются жесткими десигнаторами. Я подвергну критике некоторые попытки сформулировать ответ на это возражение, представленные в современной лингвистике и философии языка. Я рассмотрю унифицированную концепцию значения для имен, дескрипций и местоимений, предложенную П.Элбурном, и продемонстрирую, что его концепция не дает удовлетворительного объяснения жесткой десигнации. Для решения данной проблемы я предлагаю использовать уже существующий в формальной семантике механизм, необходимость введения которого объясняется совершенно независимыми от нашей проблематики основаниями, а именно переменные для возможных миров. Я утверждаю, что эти не произносимые, но присутствующие в логической форме предложения переменные получают значение в контексте употребления предложения, и они могут гарантировать, что метаязыковая дескрипция получает жесткое прочтение.

---

\* Это переработанная версия статьи «Проблема жесткой десигнации в семантике имен собственных», которая была опубликована в журнале «Эпистемология и философия науки» (2012. 4).

## Метаязыковой подход

Суть метаязыковой теории собственных имен состоит в том, что значение имени собственного тождественно определенной дескрипции, которая включает в себя упоминание самого имени, например «человек по имени С.И.» или «носитель имени С.И.» (где «С.И.» означает «имя собственное»)². Поскольку, согласно данной теории, дескрипция включает в себя цитирование самого собственного имени, такой подход получил название метаязыкового (или металингвистического). При этом я не утверждаю, что сами слова «человек», «носитель имени» присутствуют в определенной дескрипции, которая является значением имени собственного. Согласно отстаиваемому здесь подходу, имя состоит из определенного артикля, который сочетается с предикатом-цитатой вида «Иван» или «Александр». Значением этого предиката является класс объектов, которые носят это имя.

Наиболее значимым эмпирическим аргументом в пользу необходимости создания единой концепции для имен и определенных дескрипций является существование языков, в которых имена используются с определенным артиклем и, что более важно, это употребление артикля является систематическим (греческий, сери, португальский, хидатса и т. д.)³. Например, артикль исчезает в конструкциях именованья («Они называли его С.И.»), и дальнейший синтаксический анализ демонстрирует, что собственные имена выступают в качестве предикатов в этих конструкциях⁴. Аналогия с обычными определенными дескрипциями здесь очевидна. Например, слово «стол» является предикатом (выражением с семантическим типом  $\langle e, t \rangle$ ), его значением является класс объектов, обладающих свойством «быть столом». Определенный артикль сочетается с предикатом и выбирает единственный (в данной ситуации) объект, обладающий этим свойством⁵. Если имена собственные в конструкциях, в которых отсутствует артикль, являются предикатами, то в сочетании с артиклем они становятся единичными терминами и указывают на определенный объект.

Философ Тайлер Бердж⁶ обратил внимание на тот факт, что имена могут сочетаться с самыми различными детерминантами⁷ («Некоторые Саши», «Все Востриковы»), они могут выступать во

множественном числе («Есть и другие сообразительные Насти, кроме нашей аспирантки»). Эти свойства характерны и для обычных существительных (которые мы рассматриваем как предикаты). Кроме того, во всех таких случаях собственное имя получает значение «именуемый так-то», «с таким-то именем». Это, на мой взгляд, достаточно сильный аргумент в пользу метаязыкового подхода. Ни один другой тип выражений естественного языка не может переключаться со своего обычного значения на метаязыковое (иными словами, цитируемое прочтение), если такое прочтение не маркировано явным образом (с помощью кавычек, курсива, прописных букв и т. д.).

Можно также обратить внимание на тот факт, что многие названия (имена собственные некоторых объектов) в естественных языках употребляются с кавычками (маркером цитирования), например «Именование и необходимость» или «Приглашение на казнь». Здесь речь идет не только о книгах или газетах: например, в русском языке (и некоторых других языках) названия футбольных команд, документов, музеев, ураганов, лекарств должны употребляться с кавычками, тогда как в английском в таких случаях кавычки не ставятся.

Если мы примем метаязыковой подход, все эти факты получают прямое объяснение.

### **Аргумент Крипке и проблема жесткой десигнации**

Крипке сформулировал знаменитый аргумент о том, что имена являются жесткими десигнаторами и, в отличие от определенных дескрипций, обозначают один и тот же объект во всех возможных мирах<sup>8</sup>. Данное возражение применимо и к рассматриваемому здесь подходу, согласно которому значением имени собственного «Аристотель» является дескрипция вида «индивид по имени Аристотель».

Различие между поведением этих двух выражений в модальных контекстах легче всего продемонстрировать, обратившись к предложениям, содержащим модальные операторы («возможно», «мог бы» и т. д.).

(1) Аристотель мог бы не именоваться Аристотелем.

(2) Человек по имени Аристотель мог бы не именоваться Аристотелем.

Интуитивно предложение (1) является истинным: оно говорит о том, что родители Аристотеля могли дать ему другое имя.

Тем не менее предложение (2) кажется ложным и даже противоречивым по крайней мере в одном из своих прочтений. Оно говорит о том, что человек мог бы одновременно именоваться и не именоваться Аристотелем, что, конечно же, абсурдно. Есть и другое прочтение предложения (2), в котором это предложение является истинным. В таком прочтении дескрипция «человек по имени Аристотель» указывает на конкретного индивида, а предложение сообщает о том, что этот индивид мог бы именоваться иначе. Это прочтение может быть получено, если определенная дескрипция «человек по имени Аристотель» получает широкое прочтение по отношению к модальному оператору «мог бы».

Сторонник дескриптивистской теории мог бы ответить на это, что имена являются определенными дескрипциями, но они всегда получают только широкое прочтение по отношению к модальным операторам.

Однако, согласно распространенному в современной философии языка мнению, наиболее сильный аргумент Крипке состоит в том, что имена и дескрипции демонстрируют различное поведение в простых предложениях, не содержащих никаких модальных операторов (здесь и далее я буду называть простыми предложения, не содержащими модальных операторов). Рассмотрим два простых предложения:

(3) Аристотель именуется Аристотелем.

(4) Человек по имени Аристотель именуется Аристотелем.

Несмотря на то, что эти предложения не содержат никаких модальных операторов, они имеют определенный модальный профиль, и мы можем его рассмотреть. Для этого мы должны посмотреть, какое истинностное значение будут принимать эти предложения в разных возможных мирах, отличающихся от нашего. Например, мы можем рассмотреть мир  $w_1$ , в котором существует тот человек, которого мы знаем как философа Аристотеля в нашем мире, но он носит другое имя.

Когда мы оцениваем истинностное значение простого предложения в другом возможном мире, мы не рассматриваем его так, как если бы оно было произнесено в том возможном мире. Мы долж-

ны представлять его как произнесенное здесь и сейчас в реальном мире, полагая, что все выражения используются именно в том значении, в котором они используются в реальном мире. Мы должны понять пропозицию<sup>9</sup>, которую это предложение выражает, а затем оценить ее на предмет истинности или ложности в интересующем нас возможном мире.

Если мы это проделаем, то мы увидим, что предложение (3) выражает случайную истину – это предложение является истинным в некоторых мирах, таких как наш актуальный мир, но оно является ложным и в некоторых других мирах, как наш  $w_1$ , где Аристотеля звали, например, Платоном. Предложение (4) представляет собой простую тавтологию, следовательно, является истинным во всех возможных мирах, где существует уникальный индивид, носящий имя «Аристотель». Если в рассматриваемом нами мире  $w_1$  такого индивида нет, то предложение (4) не имеет истинностного значения в нем. Таким образом, вопрос, на который мы должны ответить, состоит в том, каким образом «Аристотель» и «человек по имени Аристотель» могут иметь то же самое значение, если они имеют различный модальный профайл.

### **Могут ли имена быть индексными выражениями?**

В недавней работе Ора Матушански<sup>10</sup> отстаивала идею о том, что имена являются жесткими десигнаторами благодаря наличию индексных элементов в их семантической структуре. Сходный подход был предложен ранее в работе Пелцара и Рэйнсбури<sup>11</sup>, где они утверждают, что имена являются металингвистическими индексными выражениями. Известно, что индексные выражения, т. е. выражения, значение которых задается в контексте употребления (например, «я», «она»), являются жесткими десигнаторами. Истинность этого утверждения можно продемонстрировать на следующем примере:

(5) Выступающий сказал, что я пришел.

В предложении (5) слово «я» указывает на того, кто произносит это предложение, несмотря на то, что слово употребляется в косвенном контексте. Если бы значением слова «я» была бы простая дескрипция вида «тот, кто говорит», тогда предложение (5)

могло бы иметь и другое прочтение, согласно которому «я» указывает на того, что назван «выступающим». Таким образом, слово «я» является жестким десигнатором.

Матушански предлагает следующую семантическую структуру для имени собственного:

(6) [[Алиса]] =  $\lambda x \in \text{De} \lambda. R \langle e, \langle n, t \rangle \rangle. R(x)$  (“Алиса”)

В (6)  $R$  является переменной, значением которой может быть отношение. Эта переменная получает свое значение в контексте использования имени. Это отношение между объектом ( $x$ ) и последовательностью символов – собственным именем («Алиса»). « $n$ » здесь представляет семантический тип выражений, имеющих своим значением сами символы. Эта переменная может принимать различные значения: «именуется», «носит кличку», «крещен как» и т. д.

Почему же данная структура обеспечивает жесткую десигнацию? Матушански объясняет это индексной природой переменной  $R$ . Однако требуется и еще одно условие:  $R$  не содержит аргумента для возможного мира, в отличие от других отношений.

Полагаю, что это объяснение для жесткой десигнации является достаточно перспективным, но в то же время проблематичным. Я приведу два соображения против такого объяснения.

Во-первых, как мне представляется, именно этот вариант метаязыкового подхода сталкивается с проблемой круга в объяснении, сформулированной в работе Крипке. Эта проблема состоит в том, что метаязыковая теория уже предполагает то понятие референции, для которого она пытается предложить объяснение.

«Мы спрашиваем: “На кого он указывает с помощью (refer with) ‘Сократ’”? А затем предлагается следующий ответ: “Он указывает на человека, на которого он указывает”»<sup>12</sup>.

Крипке полагал, что его аргумент применим к любой метаязыковой концепции собственных имен. Тем не менее мне представляется, что некоторые версии метаязыкового подхода могут предложить достаточно хороший ответ на этот аргумент. В частности, в работах К.Баха<sup>13</sup> и Б.Гертса<sup>14</sup> был сформулирован такой ответ. Идея состоит в том, чтобы различить свойство «быть референтом имени» и свойством «быть носителем имени». «Быть названным именем» значит получить это имя благодаря стандартной процедуре получения имени в данном сообществе. Это могут быть ритуальные пляски вокруг костра, регистрация в ЗАГСЕ, крещение



или любая другая принятая в сообществе процедура. После того как имя было присвоено лицу нужным способом, мы можем использовать это свойство (быть носителем этого имени) для того, чтобы указывать на человека. Мы с равным успехом могли бы выбрать любое другое свойство или черту этого человека (например, ее черту «иметь голубые глаза»).

Однако мне не ясно, каким образом соответствующее различие может быть доступно для сторонников теории, согласно которой жесткость имени гарантируется через отношение между именем и индивидом, задаваемым в контексте произнесения предложения.

Крипке предлагает объяснение тому, почему имена являются жесткими десигнаторами: имена указывают на свой объект напрямую (теория прямой референции). Дескриптивная теория также должна предложить объяснение для этого факта. Вариант индексной металингвистической теории предлагает такое объяснение: имя указывает на свой объект, благодаря отношению  $R$ , и имя является жестким десигнатором, потому что такова природа этого отношения  $R$ . Это соотношение может быть, например, отношением «являться жестким десигнатором», и, конечно, такая теория сталкивается с проблемой круга в объяснении.

Кроме того, не все выражения, содержащие индексные выражения, являются жесткими (например, «мой друг» не кажется таким). Все возможные кандидаты на значение, которое отношение  $R$  может принимать в контексте («именоваться», «быть крещеным как»), не могли бы обеспечить жесткую десигнацию. Не предлагается никакого объяснения тому, почему это отношение должно быть лишено индекса для возможного мира.

Вторая проблема, с которой, на мой взгляд, сталкивается любая концепция, объясняющая жесткую десигнацию имен через индексные выражения в семантике метаязыковой дескрипции, состоит в том, что этой теории придется отказаться от одного из наиболее сильных аргументов в пользу метаязыкового подхода. Я отмечала выше, что имена являются единственным типом выражений, которые могут изменять свое значение на метаязыковое без какого-либо маркирования (например, кавычками).

Так, если имя при любом использовании является жестким десигнатором, то в рамках этой концепции нельзя объяснить использование имен с ограничительным определительным придаточ-

ным предложением. Примером такого предложения является (7). В этом контексте нежесткое прочтение должно быть и фактически является доступным:

(7) Тот Гитлер, который был моим соседом в Нью-Йорке, вероятно, стыдится своего имени.

В данном случае «Гитлер» не является жестким десигнатором. Я могу использовать данное предложение, совершенно не зная и никогда не встречая этого «Гитлера», просто предполагая, что человек с таким именем должен его стыдиться.

На мой взгляд, метаязыковой подход интересен, только если он может объяснить все стандартные способы использования имен, но также и все способы метаязыкового употребления имен (т. е. когда значением имени явным образом является «человек по имени С.И.»).

Я заключаю, что если мы хотим отстаивать метаязыковой подход, то мы должны искать другое объяснение для жесткой десигнации имен собственных.

### **Единая теория и ее сложность**

Пол Элбурн в книге «Ситуации и индивиды»<sup>15</sup> (2006) предлагает единую концепцию для местоимений третьего лица, определенных дескрипций и имен собственных. Неформально семантику и синтаксис, которые он предлагает для этих выражений, можно описать следующим образом: это определенный артикль, который сочетается с именной группой NP (она может не произноситься, например, в случае с местоимениями) и индексом семантического типа  $\langle e, t \rangle$  (индекс является натуральным числом). Роль индекса состоит в том, что он указывает, является ли выражение связанным вышестоящим оператором (это случай, когда выражение коиндексировано с вышестоящим оператором), референциальным (индекс  $> 0$ ) или оно не является ни референциальным, ни связанным (случай donkey-анафоры индекс = 0). Концепция значения собственных имен Элбурна является метаязыковой.

Элбурн утверждает, что его концепция автоматически разрешает проблему жесткой десигнации. Он пишет, что выбор референциального индекса в определенной дескрипции превращает ее в жесткий десигнатор (то же справедливо и для местоимений).

Соответственно, если метаязыковая дескрипция, которая является значением собственного имени, содержит референциальный индекс, то она будет указывать на конкретного носителя собственного имени, о котором мы хотим что-то сообщить.

Имя в теории Элбурна имеет следующую структуру:

(9) [[the 2] «Имя собственное»],

где «Имя собственное» – это наш предикат-цитата.

Когда индекс получит интерпретацию, логическая форма для собственного имени будет выглядеть следующим образом:

(10)  $i_y(\langle \text{Имя собственное} \rangle y \ \& \ y = x)$ .

Здесь  $i$  является йота-оператором. Аргументами этого оператора являются два предиката – метаязыковой предикат (имя собственное в предикативном прочтении – в значении класса индивидов-носителей данного имени) и функция тождества. Значение  $x$  задается в контексте произнесения предложения. Значением йота-оператора является конкретный объект, тождественный объекту  $x$ , который мы выбрали в контексте, и этот объект является уникальным носителем данного имени в данном контексте.

По сути, такую же структуру для собственного имени предлагал Т.Бердж<sup>16</sup>.

Однако эта структура превращает любое имя собственное в частично описательное имя – имя с минимальным дескриптивным содержанием<sup>17</sup>. Сомс утверждает, на мой взгляд, совершенно справедливо, что имя такого типа не будет обладать жесткой десигнацией в строгом смысле. Этот же аргумент был сформулирован и применен к теории Элбурна в недавнем исследовании Э.Майера<sup>18</sup>. Данный аргумент можно представить следующим образом.

(а) Объект должен удовлетворять двум условиям логической формы (10), представленным справа и слева от конъюнкции (&) *в том мире, в котором мы рассматриваем выражение*, для того чтобы он мог быть семантическим референтом имени.

(б) Правая часть формулы всегда будет давать нам желаемый объект, ведь единственным вкладом « $y = x$ » в данную логическую форму является сам объект.

(в) Однако есть очевидная проблема с левой частью конъюнкции. Объект, выбранный нами, в некоторых возможных мирах может и не обладать свойством «именоваться Имя Собственное». Выше уже было указано, что в других возможных мирах объект может иметь другие имена.

В таких мирах структура (10) не будет давать нам на выходе выбранный нами объект в качестве своего семантического референта.

(Вывод) Таким образом, структура (10) не дает нам жесткой десигнации.

Данная структура может обеспечить лишь то, что в философской литературе называется «слабой жесткой десигнацией»<sup>19</sup>. Это означает, что имя действительно будет выбирать один и тот же объект во всех возможных мирах, но только в тех, где этот объект обладает свойством, обозначенным метаязыковым предикатом.

Если мы подставим в качестве такого предиката, например, «Аристотель», а в качестве значения *x* выбираем того самого философа Аристотеля, то в тех мирах, где Аристотеля назвали другим именем, дескрипция такого типа вообще не будет иметь никакого значения.

Существует ли какой-либо способ обеспечить жесткую десигнацию для собственных имен, не отказываясь от идеи о том, что они имеют минимальное смысловое содержание?

Есть много выражений в естественных языках, которые де-факто являются жесткими десигнаторами, но при этом обладают также некоторым описательным содержанием: «нынешний президент США», «этот президент» (сложный демонстратив) и т. д. Для того чтобы предложить адекватную семантику для собственных имен, которая сохраняет минимальное дескриптивное содержание, мы могли бы исследовать, каким образом дескриптивное содержание таких выражений является частью их значения и при этом они могут быть жесткими десигнаторами.

Такие выражения, как «этот», в сложных демонстративах не просто вводят некоторые элементы, значение которых зависит от контекста (например, от того, на какой объект мы указываем), но и изменяют оценку дескриптивного содержания данной фразы. Традиционный анализ значения сложных демонстративов, предложенный Дэвидом Капланом, предполагает, что эти выражения имеют прямую референцию и являются жесткими десигнаторами. Однако, когда мы оцениваем значения этих выражений в разных возможных мирах, мы должны принимать во внимание, удовлетворяет ли объект, на который мы указываем, дескриптивной части сложного демонстратива *в мире произнесения данного выражения, т. е. в реальном мире*. Таким обра-

зом, очевидно, что для того, чтобы сохранить и идею дескриптивного содержания, и идею жесткой десигнации, нам нужно отбросить посылку (а) нашего аргумента. Когда мы оцениваем (11) в отношении других возможных миров, мы не ищем философа по имени Аристотель в этих других мирах. Мы находим человека, обладающего этим свойством в реальном мире  $w_0$ , а затем смотрим, является ли этот самый человек носителем имени Аристотель в  $w_1$ .

(11) Этого философа по имени Аристотель зовут Аристотелем.

Не вполне ясно, однако, может ли тот же самый механизм, который обеспечивает жесткость обозначения сложных демонстративов, отвечать за жесткость обозначения определенных дескрипций (а мы здесь рассматриваем имена как определенные дескрипции). К примеру, вполне можно сказать «Эта собака большая, но эта нет» (указав на разных собак), однако нельзя сказать «Собака большая, но собака нет». Это говорит о том, что семантика сложных демонстративов отличается от семантики определенных дескрипций.

Было бы полезно обладать некоторым механизмом, который позволял бы фиксировать мир оценки дескриптивного содержания (НР в данном случае), в особенности если бы необходимость введения такого механизма в формальной семантике была мотивирована независимыми от рассматриваемой проблематики основаниями. К счастью, такой механизм существует. Стандартным способом фиксации мира оценки предиката являются переменные для возможных миров или ситуаций (ситуации рассматриваются как часть возможных миров, они обладают также временным параметром). Существуют также очень серьезные и совершенно независимые от нашей проблематики аргументы в пользу введения таких переменных в логическую форму предложения.

### **Необходимость переменных для возможных миров или ситуаций**

Наиболее сильные аргументы в пользу введения переменных мира, времени, места (или ситуаций) в синтаксис основываются на примерах, когда нам необходимо объяснить интенциональную

(т. е. с точки зрения мира и времени) независимость группы детерминанта (DP) от времени, мира и места основного предиката (сказуемого) предложения. Рассмотрим некоторые примеры.

Жанет Фодор предположила, что предложение (12) имеет более чем два прочтения.

(12) Мария хочет купить шляпу, как у меня<sup>20</sup>.

Два стандартных прочтения предложения (12) могут быть получены следующим образом. В одном случае DP «шляпа, как у меня» принимает широкое прочтение в отношении модального оператора «хочет», тогда речь идет об определенной конкретной шляпе. Во втором случае, это DP имеет узкое прочтение по отношению к «хочет», и тогда речь идет о том что Мария просто любит повторять за мной и хочет купить шляпу, как у меня.

(12, 1) [шляпу, как у меня]<sub>1</sub> [Мария хочет [PRO купить t<sub>1</sub>]]  
(Мария хочет купить определенную шляпу, как у меня)

(12, 2) Мария хочет [[шляпу, как у меня] 1 [PRO купить t<sub>1</sub>]]  
(Мария просто хочет купить какую-то шляпу, как у меня).

Фодор утверждала, что данное предложение имеет еще одно прочтение, которое нельзя получить путем перестановки выражения [«шляпа, как у меня»] относительно положения модального оператора. Это предложение может быть истинным, если Мария не выбрала конкретную шляпу, которую она хочет купить, но знает, какого типа шляпу она хочет (ушанку, например), а это именно такой тип шляпы, которую ношу я.

Стандартным решением<sup>21</sup> данной проблемы является предположение о том, что к каждому предикату (выражению типа  $\langle e, t \rangle$ ) присоединяется переменная для возможного мира. Данная переменная не произносится, но присутствует в логической форме предложения. Как и любой другой тип переменных, переменные для возможных миров могут либо быть связанными некоторыми операторами (в нашем случае – модальными операторами), либо получать значение в контексте употребления предложения.

Искомая третья форма предложения (12) выглядит следующим образом:

(12, 3) Мария хочет  $w_0$  [ $\lambda w_1$  [шляпа, как у меня  $w_0$ ]  $\lambda x_1$  [PRO купить  $w_1$   $x_1$ ]]

Мы видим здесь, что [шляпа, как моя  $w_0$ ] имеет узкое прочтение по отношению к модальному оператору (можем сравнить положение этого выражения с (12, 2)). Однако модальный опера-

тор «хочет» не связывает переменную  $w_0$ . Содержание выражения [шляпа, как у меня  $w_0$ ] оценивается по отношению к реальному миру (миру оценки главного предложения), а не по отношению мирам желаний Марии (мирам оценки подчиненного предложения).

Другой пример, который часто используется в качестве аргумента в пользу необходимости введения переменных для возможных миров, продемонстрирован в (13).

(13) Если бы каждый человек в этом помещении был снаружи, то комната была бы пуста<sup>22</sup>.

Для анализа данного предложения нам нужно обратиться к семантике возможных миров. Первая часть предложения описывает, на какие миры нам нужно смотреть, вторая часть (после запятой) утверждает нечто об этих мирах. В данном случае, если мы оцениваем группу существительного «каждый человек в этом помещении» внутри области действия «если», то получается, что мы должны искать такие миры, где «каждый человек, который находится внутри, находится снаружи». Однако таких миров не существует, так как это прочтение требует, чтобы люди одновременно находились и снаружи, и внутри помещения, что логически невозможно.

Если мы оцениваем группу существительного вне области действия «если», то мы получаем следующее прочтение «для каждого человека в этом помещении верно, что если бы он был снаружи, то комната была бы пуста». Однако это не то прочтение, которое нас интересует! В этом прочтении предложение (13) является ложным.

Нам нужно оценивать значение группы существительного относительно актуального мира, а значение предиката «быть снаружи» относительно рассматриваемых возможных миров.

Вывод, который мы можем сделать из анализа этих примеров, состоит в том, что переменная для мира, присоединяемая к DP (группе существительного), не обязательно должна быть коиндексирована с переменной для мира, которая присоединяется к главному предикату.

В отношении центральной для данной статьи проблематики мы можем предположить, что имена являются дескрипциями, но дескрипциями такого типа, что переменная для возможных миров, присоединяемая им, в большинстве случаев не совпадает с переменной главного предиката в предложении.

Можем ли мы использовать переменные для возможных миров для анализа простых предложений, т. е. предложений, не содержащих модальных операторов?

Многозначность простых предложений типа (4) трудно обнаружить. Различие между двумя нашими основными примерами (3) и (4) (которые я повторяю ниже) в новой системе с переменными для возможных миров можно сформулировать таким образом. В предложении (3) мы сначала фиксируем значение переменной для мира, присоединяемой к DP [Аристотель], а затем уже оцениваем это предложение в других возможных мирах. Для предложения (4) мы обычно предполагаем логическую форму (14).

(4) Человек по имени Аристотель именуется Аристотелем.

(3) Аристотель именуется Аристотелем.

(14) [ $\lambda w_0$  [[человек по имени Аристотель  $w_0$ ]] [именуется Аристотелем  $w_0$ ]]]

Здесь все переменные для возможных миров ко-индексированы. Однако, чтобы иметь дело с парадоксами, которые мы рассматривали выше, мы должны допустить, что это вовсе не обязательно. Теперь в любой конструкции, где DP имеет *de re* прочтение по отношению к модальному оператору, переменная для возможного мира, присоединяемая к этому DP, должна отличаться от переменной, присоединяемой к основному предикату. Чтобы выводить такие конструкции композиционно, мы должны допустить возможность различной индексации даже для простых структур.

Теперь можно сформулировать следующий вопрос: встречаются ли в естественном языке простые предложения с определенными дескрипциями, где переменная для мира, присоединяемая к дескрипции, не коиндексирована с переменной основного предиката?

Мне кажется, что такие конструкции существуют. Рассмотрим следующий дискурс:

(15) Студент очень умен. Однако он мог бы не быть студентом, потому что его родители алкоголики и никогда не заботились о его образовании.

Второе предложение может помочь нам правильно интерпретировать первое, хотя первое предложение не содержит никаких модальных операторов.



Здесь можно провести аналогию с тем, как дискурсивная анафора в предложении (16) позволяет правильно интерпретировать первое предложение. Она требует, чтобы «книга» получила широкое прочтение по отношению к «каждому студенту».

(16) Каждый студент прочитал книгу. Она была очень скучной.

Таким образом, благодаря переменным для возможных миров мы можем зафиксировать мир оценки содержания дескрипции, и дескрипции могут получать жесткое прочтение.

### **Имена в конструкциях с глаголом-связкой «быть»**

Вернемся теперь к исходному контрасту между (3) и (4). Мы сказали, что в определенном контексте «человек по имени Аристотель» может получать жесткое прочтение.

Тем не менее данное рассуждение было бы более убедительным, если бы мы могли показать, что (3) на самом деле также имеет второе прочтение, где оно будет интерпретироваться как тавтология. Имена используются в большинстве случаев с намерением указать на конкретного человека, но все же я полагаю, что искомым пример может быть обнаружен.

Чтобы продемонстрировать, что аналитическое прочтение для простого предложения, в котором в качестве ДР выступает собственное имя, в принципе возможно, я несколько модифицирую форму простого предложения. Можно представить, что кто-то произносит (17), чтобы объяснить, как работает наша система именования.

(17) Человек с именем Саша и фамилией Ладов является Сашей Ладовым, человек с именем Вася и фамилией Петров является Васей Петровым.

На мой взгляд, данное предложение осмысленно, даже если говорящий и слушающий не знают никакого конкретного Саши Ладова. Крипке утверждает, что выражение «быть Аристотелем» или «являться Аристотелем» не может буквально означать «именоваться Аристотелем», такое употребление является метафорическим или неточным использованием языка. Однако на это можно возразить, что существуют несколько видов предложений с глаголом-связкой «быть» и предложения тождества являются только одним из них. Другой вид – предикативные предложения, к которым, на мой взгляд, (17) и относится.

Предикативное предложение является таким же буквальным, как и предложение тождества. Эти типы предложений имеют различные семантические и синтаксические свойства.

Предложение тождества имеет форму [DP является/есть DP] и семантический тип обоих аргументов -е (тип референциального выражения)<sup>23</sup>:

(18) Владимир Сирин – это Владимир Набоков.

Предикативная связка «быть» представляет собой функцию с двумя аргументами: один аргумент типа е и второй тип  $\langle e, t \rangle$  (или, возможно,  $x$  и  $\langle x, t \rangle$ ), синтаксически предложение выглядит так: [DP есть/является Pred]:

(19) Аристотель умен.

В нашем примере (19) предикативная часть выражена очевидным предикатом. Тем не менее это не всегда так. Вторая часть предикативного предложения может быть выражена DP, которое получает предикативное прочтение, как в примере (20):

(20) Аристотель является владельцем дома.

Есть целый ряд дискуссий, связанных с вопросом о том, как определить тип предложения с двумя DP. В некоторых языках различие между типами конструкций маркировано морфологически, например в русском. Одним из признаков предикативного прочтения является творительный падеж в русском языке<sup>24</sup>.

Можно также говорить о том, что существует семантическое различие между предложениями тождества и предикативными предложениями. Лингвисты отмечают, что если второе DP стоит в именительном падеже, то оно имеет более референциальное прочтение, чем в случаях, когда оно стоит в творительном падеже. Падучева и Успенский, например, обращаются к различию между атрибутивным и референциальным прочтением (в том смысле, в котором это различие было проведено Доннелланом)<sup>25</sup>.

Здесь можно провести аналогию с идеей Столнакера о том, что имена могут быть использованы в атрибутивном прочтении<sup>26</sup>, например, в таком контексте: «Кто из них Даниэль?» «Даниэль – который лысый».

Если в предложении (17) имя собственное («Саша Ладов») отмечено семантически и синтаксически (через падеж) как нереперенциальное и предикативное, почему мы должны считать, что такое употребление является метафорическим, а не буквальным?

Один из возможных ответов состоял бы в том, что в действительности есть случаи небуквального употребления имен, и в предложениях тождества, и в предикативных предложениях: (21) «Иван Грозный – это Вася» (в случае, если Вася играет Ивана Грозного в пьесе). Однако, на мой взгляд, есть различие между (21) и английским<sup>27</sup> переводом предложения (17).

(17, 1) The person with the name Sasha and the last name Ladov is Sasha Ladov.

Это различие состоит в том, что из (17, 1) мы можем получить буквальное предложение тождества, используя стандартный механизм изменения семантического типа, предложенный Барбарой Парти<sup>28</sup> (при условии, что другой механизм отвечает за жесткую десигнацию, как я и утверждала в данной статье) (в данном случае мы можем использовать ее функцию – йоту, которая отображает выражение типа  $\langle e, t \rangle$  в выражение типа  $e$ , т. е. возвращает уникальный объект, обладающий данным свойством). Никаким способом мы не сможем превратить высказывание (21) «Иван Грозный – это Вася» в буквальное предложение тождества, потому что «Вася» не указывает на того же индивида, что и «Иван Грозный».

### Преимущества данного подхода

Сторонник метаязыковой теории приписывает именам минимальное дескриптивное содержание. Такое содержание, в отличие от других дескрипций, которые предлагались в литературе в качестве кандидатов на роль значения имени, доступно для любого носителя языка. Это делает данную концепцию привлекательной для решения проблемы верования, по крайней мере некоторых ее аспектов.

Одна из загадок, связанных с проблемой приписывания верований, состояла в том, почему человек, которому известно, что «Кент Кларк» и «Супермен» указывают на одного и того же индивида, все же может принимать предложение (22) и считать, что оно верно описывает верование его друга Джона.

(22) Джон верит, что Супермен летает, но он не верит, что Кларк Кент летает.

Сторонник традиционной теории собственных имен, согласно которой значением собственного имени является просто объект, на который это имя указывает, вынужден признать, что, произнося и принимая предложение (22), индивид верит в противоречие. Ведь произносящий (22) принимает и отрицает одну и ту же пропозицию, а именно: что Джон *верит* в X и что Джон *не верит* в X.

Однако предлагаемый здесь подход не сталкивается с этой сложностью. Deskриптивное содержание имен «Супермен» и «Кларк Кент» не идентично. Человек, принимая (22), не приписывает себе веру в противоречие. (22) получает следующую интерпретацию:

(22, 1) Носитель имени Супермен в реальном мире таков, что Джон верит, что он летает, и носитель имени Кларк Кент в реальном мире таков, что Джон не верит, что он летает<sup>29</sup>.

## Заключение

Я рассмотрела аргументы Крипке против дескриптивистской теории собственных имен и возможности метаязыкового подхода предложить ответ на эти аргументы. Самым сильным аргументом был контраст между поведением простых предложений с именами и дескрипциями в модальных контекстах. Я попыталась показать, что, с одной стороны, простые предложения с глаголом-связкой «быть» и собственным именем могут иметь тавтологическое прочтение, а с другой – что мир оценки содержания дескрипции можно закрепить, используя механизм переменных для возможных миров. Этот механизм уже существует в лингвистической теории и вводится по независимым от нашей проблематики основаниям.

## Примечания

- <sup>1</sup> Я благодарю своих коллег – участников семинара «Логика и философия языка» Института философии РАН за замечания и комментарии к моему докладу «Проблема жесткой десигнации в семантике собственных имен».
- <sup>2</sup> Я оставляю за рамками данной статьи сложность, связанную с тем, что в одном мире может быть более чем один индивид с данным именем. Я буду предполагать, что данная проблема решается одинаково для всех видов де-

- скрипций (стандартными решениями являются введение дополнительной переменной для свойств (К. фон Финтель, Дж.Стенли, З.Сабо) или ситуационной переменной (П. Элбурн, А.Кратцер)).
- 3 *Anderson J.* The Grammar of Names. Oxford, 2006.
  - 4 *Matushansky O.* Why Rose is the Rose: On the use of definite articles in proper names // O.Bonami & P.Cabredo Hofherr (eds.) Empirical Issues in Syntax and Semantics. 2006. 6. P. 285–307; *Matushansky O.* On the Linguistic Complexity of Proper Names // Linguistics and Philosophy 31. 2008. № 5. P. 573–627. Интересно отметить, что одним из языков, на основе которых Матушански показывает, что собственные имена в конструкциях «Они звали его Петей Ивановым» являются предикатами, является русский (творительный падеж является одним из маркеров предикативной конструкции).
  - 5 Я не обсуждаю здесь вопрос о том, являются ли определенные дескрипции кванторами или единичными терминами, поскольку, как мне представляется, это несущественно для целей данной статьи. Я буду исходить из того, что они являются единичными терминами, и отдельно оговаривать случаи, когда рассматриваю дескрипции как кванторы.
  - 6 *Burge T.* Reference and proper names // Journal of Philosophy. 1973. 70(14). P. 425–439.
  - 7 В лингвистике «детерминантами» называются такие выражения, как «каждый», «все», «the», «этот». Детерминанты сочетаются с существительными.
  - 8 *Kripke S.* Naming and Necessity. Harvard, 1980.
  - 9 Пропозиция здесь понимается как функция от мира к истинностному значению.
  - 10 *Matushansky O.* On the Linguistic Complexity of Proper Names // Linguistics and Philosophy. 2008. Vol. 31. № 5. P. 573–627.
  - 11 *Pelczar M., Rainsbury J.* The indexical character of names // Synthese. 1998. 114. P. 293–317.
  - 12 *Kripke S.* Op. cit. P. 70.
  - 13 *Bach K.* Giorgione was so-called because of his name // Philosophical Perspectives. 2002. № 16. P. 73–103.
  - 14 *Geurts B.* Good news about the description theory of names // In Journal of semantics. 1997. № 14. P. 319–348.
  - 15 *Elbourne P.* Situations and individuals. The MIT Press, 2006.
  - 16 *Burge T.* Reference and proper names // Journal of Philosophy. 1973. 70(14). P. 425–39.
  - 17 *Soames S.* Beyond rigidity. Oxford, 2002.
  - 18 *Maier E.* Proper Names and Indexicals Trigger Rigid Presuppositions // Journal of Semantics. 2009. № 26. P. 253–315.
  - 19 *Devitt M.* The case for referential descriptions // Reimer M., Bezuidenhout A. (eds.). Description and beyond. Oxford, 2004.
  - 20 Пример был предложен Жанет Фодор, я цитирую его по: *von Fintel K., Heim I.* Notes on Intensional Semantics. Cambridge (Mass), 2007. Я цитирую их анализ для двух логических форм предложения (примеры 145, 146).
  - 21 *von Fintel K., Heim I.* Op. cit.

- 22 *Keshet E.* Good Intensions: Paving Two Roads to a Theory of Good Intensions: Paving Two Roads to a Theory of the De re / De dicto Distinction. Ph.D. thesis, Massachusetts Institute of Technology. Cambridge (MA), 2008.
- 23 В русском языке связка может не произноситься.
- 24 *Partee B.* Copula Inversion Puzzles in English and Russian // *Dziwirek K., Coats H., Vakareliyska C.* (eds.). Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Seattle Meeting 1998, Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 1998. P. 361–395.
- 25 *Падучева Е.В., Успенский В.А.* Подлежащее или сказуемое? Семантический критерий различения подлежащего и сказуемого в бинаминальных предложениях // Изв. Акад. СССР. Сер. Лит. и яз. 38.4. М., 1979. С. 349–360.
- 26 *Stalnaker R.* Pragmatics. Synthese. 1970. № 22 (1–2). P. 272–289.
- 27 Выбор английского примера объясняется тем, что в нем не маркировано различие между предложением тождества и предикативным предложением.
- 28 *Partee B.* Noun phrase interpretation and type-shifting principles / Eds.: J. Groenendijk, D. de Jongh, M. Stokhof. Studies // Discourse Representation Theory and the Theory of Generalized Quantifiers. Dordrecht, 1986. P. 115–143.
- 29 Имена-дескрипции в данном случае получают de re интерпретацию, однако я не думаю, что есть хоть какое-то соответствие между de re интерпретацией DP в отчете о веровании и тем, является ли само верование de re.

## Содержание

От составителей. Значение и смысл как нелингвистические категории ..... 3

### РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

#### АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ И ГУМАНИТАРИСТИКЕ

*А.Л.Никифоров*

Интерпретация в естественных и гуманитарных науках ..... 6

*А.Ю.Антоновский*

Коммуникация и наблюдение как универсальный биологический,  
нейрофизиологический и коммуникативный процесс ..... 16

### РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

#### АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ

*А.Л.Никифоров*

Специфика описания в естествознании и в истории ..... 31

*А.Л.Никифоров*

Смысл и значение исторического события ..... 46

*А.Ю.Антоновский*

Предметно-проблемные поля социальной философии  
в социозпистемологическом прочтении:  
от инореференции к самореференции ..... 65

### РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

#### ЗНАЧЕНИЕ И ФОРМА В ЛИНГВИСТИКЕ И СЕМАНТИКЕ

*А.Ю.Антоновский*

Форма и значение в языке, сознании и коммуникации ..... 90

*А.В.Мигла*

Проблемы антиреалистской интерпретации собственных имен  
в аналитической философии ..... 108

*Е.В.Вострикова*

Семантика vs прагматика: современные подходы ..... 142

*Е.В.Вострикова*

Проблема жесткой десигнации в семантике имен собственных ..... 163

Научное издание

## **Лингвистика, коммуникация и история: семантический анализ**

*Утверждено к печати Ученым советом  
Института философии РАН*

Художник *Н.Е. Кожина*

Технический редактор *Ю.А. Аношина*

Корректор *И.А. Мальцева*

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.98 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 29.08.13.

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman.

Усл. печ. л. 11,5. Уч.-изд. л. 9,41. Тираж 500 экз. Заказ № 021.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН

Компьютерный набор: *Т.В. Прохорова*

Компьютерная верстка: *Ю.А. Аношина*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН

119991, Москва, Волхонка, 14, стр. 5

Информацию о наших изданиях см. на сайте Института философии:  
<http://iph.ras.ru/arhive.htm>